

ДВЕ ЖИЗНИ

роман
в четырех
частях

КОРА АНТАРОВА

Золотой фонд эзотерики

Конкордия Антарова

**Две жизни. Роман
в четырех частях**

«ЭКСМО»

1993

Антарова К. Е.

Две жизни. Роман в четырех частях / К. Е. Антарова — «Эксмо», 1993 — (Золотой фонд эзотерики)

ISBN 978-5-04-182331-3

Все части культовых «Двух жизней» Конкордии Антаровой – в одном сборнике! Чтобы ничего не отвлекало от увлекательной теософской прозы. В годы Великой Отечественной войны бывшая оперная певица, ученица Станиславского, записывает текст, который ей телепатически передает последователь Учителей Востока. Так рождается роман-загадка, названный «русским Шанатарамом», впервые изданный спустя 50 лет после написания и сразу ставший бестселлером. В главных героях легко узнать Льва Толстого, Сергея Рахманинова и другие «великие души», оставшиеся на земле. Погони, страсти, приключения, философия Востока и духовный рост – все это открывает драгоценная шкатулка «Двух жизней». Начните путешествие в легендарную историю!

ISBN 978-5-04-182331-3

© Антарова К. Е., 1993

© Эксмо, 1993

Содержание

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Часть 1 | 6 |
| Предисловие | 6 |
| Глава 1 | 13 |
| Глава 2 | 22 |
| Глава 3 | 34 |
| Глава 4 | 44 |
| Глава 5 | 51 |
| Глава 6 | 57 |
| Глава 7 | 67 |
| Глава 8 | 83 |
| Глава 9 | 87 |
| Глава 10 | 98 |
| Глава 11 | 105 |
| Глава 12 | 114 |
| Глава 13 | 123 |
| Глава 14 | 134 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 139 |

Конкордия Евгеньевна Антарова

Две жизни. Роман в четырех частях

© Миланова А., предисловие, комментарии, 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2017

Часть 1

Предисловие

В ряду художественных произведений, посвященных духовно-психологической и философской тематике, роман К. Е. Антаровой «Две жизни» занимает особое место.

Остановимся немного на жизни автора этого произведения, Конкордии Евгеньевны Антаровой (1886–1959). Конкордия Евгеньевна родилась 13 (по новому стилю 25) апреля 1886 года в Варшаве. Жизнь не баловала ее с самого детства: когда ей было 11 лет, умер отец. Конкордия, или, как ее называли, Кора, жила с мамой на ее небольшую пенсию и деньги, которые мать зарабатывала уроками иностранных языков. В 14 лет девочку постиг еще больший удар судьбы: умерла ее мама, и Кора осталась совсем одна. Тогда она училась в 6-м классе гимназии. Родственников, способных помочь ей материально, у нее не было, но девочка не бросила учебу – она стала зарабатывать себе на жизнь самостоятельно, давая уроки, как делала это раньше ее мама, и смогла закончить гимназию в 1901 году. Тем не менее у совсем юной девушки, оставшейся одной на всем белом свете, появилась мысль об уходе в монастырь, и Кора стала послушницей. На сохранившейся фотографии тех лет мы видим прекрасное, удивительно духовное юное лицо в монашеском облачении.



Видимо, самым светлым явлением в ее послушницеской жизни было пение в церковном хоре: именно тогда стало ясно, что судьба одарила ее удивительно красивым контральто оригинального, необычного тембра. Этот дар вместе с любовью к музыке и театру и определил впоследствии путь ее жизни. Но Конкордия не сразу поняла свое истинное призвание: приехав в Санкт-Петербург после окончания гимназии, она поступает вначале на историко-филологический факультет Бестужевских Высших женских курсов и лишь затем – в Петербургскую консерваторию. Учебу на курсах она закончила в 1904 году. У нее была возможность устроиться на работу преподавателем того же учебного заведения, но именно тогда девушка поняла, что истинное ее призвание состоит в искусстве, в музыке. Она решила специализироваться по классу вокала и стала брать уроки пения у профессора консерватории И. П. Прянишникова. Чтобы иметь возможность оплачивать эти уроки, ей приходилось много работать. Тяжелая работа подрывала ее силы, она часто болела, но упорно шла к своей цели, не отступая от задуманного. Именно в те трудные, полуголодные годы у нее началось тяжелое заболевание, впоследствии поставившее точку в ее артистической карьере – бронхиальная астма. В 1907 году Антарова проходит прослушивание в Мариинском театре. Несмотря на огромный конкурс, ее принимают на работу в труппу знаменитого театра. Но в Мариинке Антарова проработала не больше года – одна из певиц Большого театра по семейным обстоятельствам переехала в Петербург, и Антарова согласилась заменить ее в Москве, став в 1908 году артисткой Большого театра.

Ее мечта сбылась – она стала оперной певицей. Более 20 лет своей жизни она отдала сцене. Репертуар Антаровой был огромен, ее неповторимый, незабываемый голос звучал во всех операх, которые ставились в Большом театре за это время. Позднее (предположительно в 1933 году, уже после ухода со сцены) она была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР.

С 1930 года в жизни Антаровой происходят перемены: известно, что с этого времени Конкордия Евгеньевна прекратила свою артистическую деятельность на сцене Большого театра. С чем это было связано – с прогрессирующей болезнью или с другими обстоятельствами, – трудно сказать; существуют разные версии, объясняющие этот факт. Возможно, что после ухода из Большого театра К.Е. еще какое-то время продолжала концертную деятельность, но вскоре вынуждена была окончательно расстаться со сценой.

Между тем наступало время одного из самых драматичных периодов в истории России, периода сталинской диктатуры; трагедия миллионов людей, безвинно казненных и сосланных, не обошла и дом Конкордии Антаровой. Ее любимый муж был расстрелян в ГУЛАГе, и одному Богу известно, ценой каких страданий она пережила эту драму. Завершив свою артистическую карьеру, певица занялась литературным творчеством. Во время ее работы в Большом театре она вместе с другими молодыми артистами обучалась актерскому мастерству под руководством К. С. Станиславского. Для этого была создана специальная Оперная студия Большого театра, цель которой состояла в развитии творческих актерских навыков певцов. Знакомство со Станиславским привнесло много позитивного в жизнь Антаровой; певица старательно конспектировала беседы знаменитого режиссера. Уйдя из Большого театра, Антарова на основе этих записей написала книгу «Беседы К. С. Станиславского». Эта работа выдержала несколько переизданий и была переведена на иностранные языки.

Но, конечно, главной литературной работой всей жизни Конкордии Антаровой стал роман «Две жизни». Роман создавался ею в трудные годы войны (она тогда жила в Москве). Последователи Антаровой утверждают, ссылаясь на воспоминания ее современников, что появление на свет этого произведения окутано тайной; многотомная работа была создана в исключительно короткие сроки. Причину столь быстрого создания этого романа они видят в том, что он был не столько написан, сколько записан Конкордией Евгеньевной. Из этих утверждений можно предположить, что роман создавался Антаровой так же, как в свое время Е. П. Блаватская писала свои работы, отчасти находя материалы для них сама, но в большей мере слыша неслышимые другим голоса своих духовных Учителей, диктующих ей текст, или видя в астральном свете, с помощью ясновидения, уже готовый текст, который ей предстояло перенести на бумагу. Как бы то ни было, К. Е. Антарова несомненно имела духовную связь с Белым Братством, благодаря чему ею и были написаны «Две жизни». Один из духовных учеников К. Е. Антаровой, индолог С. И. Тюляев, свидетельствовал, что, хотя Антарова и не была членом Российского Теософического общества, она общалась с некоторыми его участниками, то есть явно была знакома с теософским учением.



Ближайшей подругой К. Е. Антаровой была выдающийся ученый-математик Ольга Николаевна Цубербиллер. Как и Конкордия Евгеньевна, она тоже была последовательницей теософского учения и Учителей Востока.

Конкордия Евгеньевна умерла в 1959 году. Копии рукописи романа «Две жизни» хранились у небольшого числа ее друзей и последователей, в том числе у С. И. Тюляева и Е. Ф. Тер-Арутюновой. Роман не предназначался для печати, в те годы об этом невозможно было и думать. Но люди, интересующиеся философско-эзотерическим наследием Востока, равно как и всем остальным, что было запрещено советской цензурой, в России были всегда, в силу чего в СССР в течение многих десятилетий существовал самиздат. Благодаря ему запрещенные для издания произведения, в том числе работы Е. П. Блаватской, книги Агни-Йоги и прочая литература, находящаяся на спецхране, тайно перепечатывалась, ксерокопировалась и передавалась из рук в руки. Таким образом, эзотерический роман К. Е. Антаровой с самого его появления на свет неизменно находил читателей и поклонников и всегда был востребован мыслящими людьми. Впервые он был издан в 1993 году и с тех пор стал любимейшей книгой всех, кто стремится к самосовершенствованию и постижению тайной мудрости Востока.

Чем же так полюбился он читателям?

В среде поклонников эзотерических учений роман особенно прославился философскими афоризмами, рассыпанными, словно жемчужины, в разных эпизодах повествования о приключениях Левушки и его покровителей. В данном издании эти афоризмы восточной мудрости выделены на полях звездочками, чтобы читателю было удобнее находить их в тексте. Отметим также, что по своей внешней форме и сюжетному развитию это произведение напоминает обычную беллетристику, интересный приключенческий роман, написанный в несколько старомодном стиле прозы конца XIX – начала XX столетия. Описываемые в романе события также происходят в XIX веке. Однако за внешней увлекательной формой повествования кроется изложение основ великого философско-эзотерического знания, принесенного в западный мир Е. П. Блаватской и семьей Рерихов в учениях теософии и Агни-Йоги (Живой Этики). Более того – сами герои романа являются прототипами духовных Учителей Востока – Махатм – и их учеников. Махатма Мориа узнается в величественном и вместе с тем человечном образе Али Мохаммеда; его ближайший соратник Учитель Кут-Хуми – в образе сэра Ут-Уоми. Иллофиллион ассоциируется с Учителем Илларионом, Флорентиец, по-видимому, является прообразом Венецианца – таково было духовное имя одного из Великих Учителей. В последующих томах читатель встретит прообразы и других Учителей Белого Братства, ставших известными на Западе, а также талантливых творческих деятелей всего мира. Главный герой романа, от имени которого ведется повествование, ученик духовных Учителей Левушка, или Лев Николаевич, граф Т. – это, конечно, Л. Н. Толстой, великий писатель и мудрец. Многие детали биографии Левушки совпадают с реальными фактами из жизни Толстого. Почему именно он был выбран прототипом главного героя романа – трудно сказать, но известно одно: всю свою жизнь Толстой глубоко ценил восточную мудрость, что отразилось в таких его работах, как сборник «Круг чтения», рассказ «Карма», сборник афоризмов «Путь жизни», и многих других.



В рассказ о жизни и приключениях главных действующих лиц этой книги искусно вплетено описание процесса духовно-психологического и нравственного самосовершенствования, который предстоит пройти человеку, решившему пойти путем ускоренной духовной самореализации, преподанном в учениях Махатм.

В динамизме повествования, в постоянных приключениях, в которые попадают спасающиеся от погони герои книги, присутствуют основы философии и этики восточного эзотеризма. Многомерность мироздания; существование иного плана бытия; способность сознания человека произвольно отделяться от его физического тела и воспринимать то, что творится в

других уголках мира; существование на планете светлых сил – Учителей Белого Братства – и сил темных в виде адептов черной магии; законы кармы и перевоплощений во всем их многообразном проявлении; психологические трудности и неизбежные ошибки учеников духовного знания, приводящие подчас к настоящим драмам их жизни и блистательные афоризмы мудрости в виде наставлений, даваемых Учителями своим ученикам – все это, изложенное на страницах этой книги, делает ее буквально кладезем ценнейшей информации для человека, интересующегося духовной мудростью Востока и вопросами самосовершенствования. Внешне похожий на увлекательную сказку, этот роман содержит в себе серьезнейшие психологические примеры того, как преломляются практические принципы восточных духовных практик в реальной повседневной жизни человека.

Не случайно этим романом зачитывалось не одно поколение читателей, интересующихся практиками совершенствования, изложенными в учениях духовных Учителей Востока. «Две жизни» – это, на самом деле, книга-учитель, необходимая для каждого, кто хоть раз задумывался о своем месте в жизни и о смысле своего существования в целом. Типаж героев романа отвечает многообразным психологическим типам людей, которые каждый из нас встречал или может встретить в реальной жизни. Читатели «Двух жизней» по ходу повествования «узнают» самих себя в тех или иных персонажах романа, и глядя на их поступки со стороны, начинают понимать и свои собственные ошибки в отношениях с людьми, и те иллюзии, которые мешают им реализовать свои лучшие мечты и планы, и внутренние психологические причины тех неудач, которые им довелось пережить, и многое-многое другое. А вслед за пониманием приходит и осознание того, как следует поступать в той или иной жизненной ситуации и как реагировать на те вызовы, которые приносит всем нам сама жизнь, чтобы суметь принять их и выйти победителем из самых сложных ситуаций.

Именно этим, на наш взгляд – своей практической, жизненной ценностью, – роман К. Е. Антаровой так полюбился многим читателям. В новое издание этого романа включены комментарии, поясняющие ряд интересных деталей повествования с точки зрения основных положений теософии и Агни-Йоги. Думается, что это, с одной стороны, облегчит чтение романа читателям, не знакомым с этими учениями; а с другой стороны – поможет в дальнейшем воспринимать и сами книги этих учений, если к ним возникнет интерес.

А. Миланова.

Глава 1

У моего брата

События, о которых я сейчас вспоминаю, относятся к давно минувшим дням, к моей далекой юности.

Уже больше двух десятков лет зовут меня «дедушкой», но я совсем не ощущаю себя старым; мой внешний облик, заставляющий уступать мне место или поднимать оброненную мною вещь, так не гармонирует с моей внутренней бодростью, что заставляет меня конфузиться всякий раз, когда люди выказывают такое почтение моей седой бороде.

Мне было лет двадцать, когда я приехал в среднеазиатский большой торговый город погостить к брату, капитану N-ского полка. Жара, ясное синее небо, дотоле невиданное; широкие улицы с аллеями из высочайших развесистых и тенистых деревьев посередине поразили меня своей тишиной. Изредка не спеша проедет на осле купец на базар; пройдет группа женщин, укутанных в черные паранджи и белые или темные покрывала, подобно плащу скрадывающие формы тела.

Улица, на которой жил брат, была не из главных, от базара находилась далеко, и тишина на ней стояла почти абсолютная. Брат снимал небольшой дом с садом; жил в нем один со своим денщиком и пользовался лишь двумя комнатами, а три остальные поступили всецело в мое распоряжение. Окна одной из комнат брата выходили на улицу; туда же смотрели два окна той комнаты, что я облюбовал себе как спальню и которая носила громкое название «зала».

Брат мой был человеком очень образованным. Стены комнат сверху донизу были заставлены полками и шкафами с книгами. Библиотека была прекрасно подобрана, расставлена в полном порядке и, судя по каталогу, составленному братом, обещала много радостей в новой для меня, уединенной жизни.

Первые дни брат водил меня по городу, базару, мечетям; временами я бродил один в огромных торговых галереях с расписными столбами и маленькими восточными ресторанами-кухнями на перекрестках. В снующей, говорливой толпе, пестро одетой в разноцветные халаты, я ощущал себя словно оказавшимся в Багдаде, и все представлял себе, что где-то совсем рядом проходит Аладдин со своей волшебной лампой или бродит никем не узнаваемый Гарун-аль-Рашид. И восточные люди, с их величавым спокойствием, или же, наоборот, повышенной эмоциональностью, казались мне загадочными и притягательными.

Однажды, бродя рассеянно от магазина к магазину, я вдруг вздрогнул как от удара электрического тока, и невольно оглянулся. На меня пристально смотрели совершенно черные глаза очень высокого, средних лет человека с густой короткой черной бородой. А рядом с ним стоял юноша необычайной красоты, и взгляд его синих, почти фиолетовых глаз также был устремлен на меня. Высокий брюнет и юноша оба были в белых чалмах и пестрых шелковых халатах. Их осанка и манеры существенно отличались от всех окружающих; многие из прохожих подобострастно им кланялись.

Оба они уже давно двинулись к выходу, а я все стоял как замороженный, не в силах победить впечатление от этих чудесных глаз. Опомнившись, я бросился за ними, но подбежал к выходу из галереи в тот самый момент, когда столь поразившие меня незнакомцы уже были в пролетке и отъезжали от базара. Юноша сидел с моей стороны. Оглянувшись, он чуть улыбнулся и сказал что-то старшему. Но густая пыль, которую подняли три осла, закрыла все, я больше ничего не мог видеть, да и стоять под отвесными лучами палящего солнца был больше не в силах.

«Кто бы это мог быть?» — думал я, возвращаясь туда, где их встретил. Я несколько раз прошел мимо лавки и наконец решился спросить хозяина:

— Скажите, пожалуйста, кто эти люди, которые только что были у вас?

– Люди? Люди много ходила сегодня мой лавка, – хитро улыбаясь, сказал он. – Только твой, верно, не люди хочет знать, а один высокий черный люди?

– Да, да, – поспешил я согласиться. – Я видел высокого брюнета и с ним красавца юношу. Кто они такие?

– Они наша большой, богатый помещики. Виноградники, – оуай, – виноградник! Ба-а-лышой торговля ведет с Англия.

– Но как же его зовут? – продолжал я.

– Ой-я, – засмеялся хозяин. – Вся горишь, знакомиться хочешь? Он – Мохаммед Али. А молодой – Махмуд Али.

– Вот как, оба Магометы?

– Нет, нет, Мохаммед только дядя, а племянник – Махмуд.

– Они здесь живут? – продолжал я спрашивать, рассматривая шелка на полках и соображая, что бы такое купить, чтобы выиграть время и узнать еще что-нибудь о заинтересовавших меня незнакомцах.

– Что смотришь? Халат хочешь? – подметив мой парящий взгляд, спросил хозяин.

– Да, да, – обрадовался я предлогу. – Покажите мне, пожалуйста, халат. Я хочу сделать подарок брату.

– А кто твой брат? Какой ему нравится?

Я понятия не имел, какие халаты могут нравиться брату, так как ни в чем другом, как в кителе или пижаме, пока еще не видел его.

– Мой брат – капитан Т., – сказал я.

– Капитан Т.? – воскликнул с восточным темпераментом купец. – Я его хорошо знаю. Ему уже есть семь халатов. На что ему еще?

Я был смущен, но, скрыв свое замешательство, храбро сказал:

– Да он их все раздарил, кажется.

– Вот как! Наверно, друзьям в Петербург посылал. Ха-а-ро-ший халаты покупал! Вот, смотри, Мохаммед Али для своя племянница велел прислать. Ой-я, халат!

И купец достал из-под прилавка чудесный халат розового тона с серовато-лиловыми матовыми разводами.

– Такой мне не подойдет, – сказал я.

Купец весело рассмеялся.

– Конечно, не подойдет; это женская халат. Я тебе дам вот, – синий.

И с этими словами он развернул на прилавке великолепный фиолетовый халат. Халат был несколько пестроват; но тон его, теплый и мягкий, мог понравиться брату.

– Не бойся, бери. Я всех знаю. Твой брат – приятель Али Мохаммед. Мы не можем продавать его приятелю плохо. Твой брат – ха-а-роший человек! Сам Али Мохаммед его почитает.

– Да кто же он, этот Али?

– Я же сказал, – большая важная купец. Персия торгует и Россия тоже, – ответил хозяин.

– Не похоже, чтобы он был купец. Он, наверное, ученый, – возразил я.

– Ой-я, ученый! Ученый он есть такой, что и у твоя брат все книги знает. Твоя брат тоже ба-а-лышой ученый.

– А где живет Али, вы не знаете?

Купец панибратски хлопнул меня по плечу и сказал:

– Ты, видать, здесь мало живешь. Али дом – напротив твой брат дом.

– Напротив дома брата очень большой сад, обнесенный высокой кирпичной стеной. Там всегда мертвая тишина, и даже ворота никогда не открываются, – сказал я.

– Тишина-то тишина. А вот сегодня будет не тишина. Приедет сестра Али Махмуд. Будет сговор, пойдет замуж. Если ты сказал, что Али Махмуд красавец, то сестра – ой-я! – звезда с неба! Косы до пола, а глаза – ух!

Купец развел руками и даже захлебнулся.

– Как же вы могли видеть ее? Ведь по вашему закону паранджу нельзя снимать перед мужчинами?

– Улица нельзя. У нас и в дом нельзя. А у Али Мохаммед все женщины дома ходит открыта. Мулла много раз говорил, да перестал. Али сказал: «Уеду». Ну, мулла и молчит пока.

Я простился с купцом, взял покупку и пошел домой. Шел я долго; где-то свернул не в ту сторону и с большим трудом отыскал наконец свою улицу. Мысли о богатом купце и его племяннике путались с мыслями о небесной красоте девушки, и я не мог решить, какие же у нее глаза: черные, как у дяди, или фиолетовые, как у брата?

Я шел, глядя под ноги, и внезапно услышал: «Левушка, да где же ты пропадал? Я уже собирался было тебя искать».

Милый голос брата, заменявшего мне всю жизнь и мать, и отца, и семью, был полон юмора, как и его сверкающие глаза. На слегка загорелом, гладко выбритом лице блестели белые зубы; у него были яркие, красиво очерченные губы, золотые выющиеся волосы, темные брови... Я впервые осознал, как красив он, мой брат. Я гордился и восхищался им всегда; а сейчас, точно маленький, ни с того ни с сего бросился ему на шею, расцеловал в обе щеки и сунул ему в руки халат.

– Это тебе халат. А твой Али стал причиной того, что я совсем оторопел и заблудился, – сказал я со смехом.

– Какой халат? Какой Али? – с удивлением спросил брат.

– Халат № 8, который я тебе купил в подарок. А Али № 1, твой друг, – ответил я, все продолжая смеяться.

– Ты напоминаешь маленького упрямца Левушку, который любил всех озадачивать. Вижу, что любовь к загадкам все еще жива в тебе, – улыбаясь своей открытой улыбкой, необычайно изменявшей его лицо, сказал брат. – Ну, пойдем домой, не век же нам стоять тут. Хотя никого и нет, но я не поручусь, что где-нибудь тайком, из-за края занавески, на нас не смотрит любопытный глаз.

Мы двинулись было домой. Но внезапно чуткое ухо брата различило вдали цоканье конских копыт.

– Подожди, – сказал он, – едут.

Я ничего не слышал. Брат взял меня за руку и заставил остановиться под огромным деревом, как раз напротив закрытых ворот того тихого дома, в котором, по словам купца из торговых рядов, жил Али Мохаммед.

– Возможно, что сейчас ты увидишь нечто поразительное, – сказал мне брат. – Только стой так, чтобы нас не было видно ни из дома, ни со стороны дороги.

Мы стояли за огромным деревом, где могли бы укрыться еще два-три человека. Теперь уже и я различал топот нескольких лошадей и шум колес на мягкой немощеной дороге.

Через несколько минут распахнулись настежь ворота дома Али, и дворник вышел на дорогу. Оглядевшись, он махнул кому-то в сад и остановился в ожидании.

Первой ехала простая телега. В ней сидели две закутанные в покрывала женские фигуры и трое детей. Все они утопали в массе узлов и картонок, а сзади был привязан небольшой сундук.

Вслед за ними, в какой-то старой бричке, ехал старик с двумя элегантными чемоданами.

И наконец на довольно большом расстоянии, очевидно оберегаясь от дорожной пыли, двигался экипаж, который пока нельзя было рассмотреть. Между тем телега и бричка въехали в ворота и исчезли в саду.

– Смотри внимательно, но молчи и не двигайся, чтобы нас не заметили, – шепнул мне брат.

Экипаж приближался. Это была изящная пролетка, запряженная прекрасным вороным конем, и в ней сидели две женщины с закрытыми черной паранджой лицами.

Из ворот дома вышел Али Мохаммед, в белом, и за ним следом, в такой же длинной белой одежде, Али Махмуд. Глаза Али-старшего, почудилось мне, будто пронзили насквозь дерево, за которым мы спрятались, и мне даже показалось, что по губам его скользнула едва уловимая усмешка. Меня даже в жар бросило; я прикоснулся к брату, желая сказать: «Нас обнаружили», но он приложил палец к губам и продолжал пристально смотреть на приблизившийся и оставившийся экипаж.

Еще через мгновение Али-старший подошел к экипажу... маленькая белая очаровательная женская ручка подняла покрывало с лица. Я видел женщин, признанных красавиц, на сцене и в жизни, но сейчас впервые понял, что такое женская красота.

Другая фигура что-то визгливо выговаривала Али старческим голосом, а девушка смущенно улыбалась и уже готова была вновь опустить на лицо покрывало. Но Али сам небрежно сбросил его ей на плечи, и, к великому негодованию старухи, на свет показались темные кольца непослушных волос. Не обращая внимания на визгливые выговоры, Али поднял бросившуюся к нему на шею девушку и, как ребенка, понес ее в дом.

Между тем Али-молодой почтительно высаживал все еще ворчавшую старуху.

Серебристый смех девушки доносился из открытых ворот.

Уже и старуха с молодым Али скрылись, и пролетка въехала в ворота, и ворота закрылись... А мы все еще стояли, забыв место и время, забыв, что хотелось есть, жару и все приличия.

Обернувшись к брату, чтобы поделиться с ним своим восторгом, я был просто потрясен. Всегда улыбающееся лицо его было совсем бледно, серьезно и даже сурово. Его синие глаза как-то потемнели. Это было лицо совершенно незнакомого мне человека. Даже брови изменили свою обычную форму и были строго сдвинуты в почти сплошную прямую линию.

Я не мог опомниться; все смотрел на этого чужого, незнакомого мне человека.

– Ну что же, понравилась ли вам моя племянница Наль? – вдруг услышал я над собой незнакомый металлический голос.

Я вздрогнул, – от неожиданности не понял даже вопроса, – и увидел перед собою высокую фигуру Али-старшего, который, смеясь, протягивал мне руку. Машинально я взял эту руку и почувствовал какое-то облегчение; даже из груди у меня вырвался вздох, и по руке побежала теплая струя энергии.

Я молчал. Мне казалось, что еще никогда не держал я в своей руке такой ладони. С усилием оторвались мои глаза от прожигающих глаз Али Мохаммеда, и я посмотрел на его руки.

Они были белы и нежны, точно к ним не мог пристать загар. Длинные, тонкие пальцы кончались овальными, выпуклыми, розовыми ногтями. Вся рука, узкая и тонкая, артистически прекрасная, все же говорила об огромной физической силе. Казалось, глаза, мечущие искры железной воли, находились в полной гармонии с этими руками. Можно было легко представить, что в любую минуту, стоит Али Мохаммеду сбросить мягкую белую одежду, взять меч в руку, – и увидишь воина, разящего насмерть.

Я забыл, где мы, зачем мы стоим посреди улицы, и не могу сейчас сказать, как долго держал Али мою руку. Я точно стоя заснул.

– Ну, пойдем же домой, Левушка. Отчего ты не благодаришь Али Мохаммеда за приглашение? – услышал я голос брата.

Я опять не понял, о каком приглашении говорит мне брат, и пролепетал какое-то невнятное прощальное приветствие улыбающемуся мне высокому и стройному Али.

Брат взял меня под руку, я невольно двинулся в ногу с ним. Робко взглянув на него, я снова увидел родное, близкое, с детства знакомое лицо любимого брата Николая, а не того чужого человека под деревом, вид которого так меня поразил и глубоко расстроил.

Сложившаяся с детства привычка видеть опору, помощь и покровительство в брате, привычка, создавшаяся в те дни, когда я рос только в его обществе, обращаться со всеми жалобами, огорчениями и недоразумениями к брату-отцу, как-то вдруг выскочила из глубины моего сердца, и я сказал жалобным тоном:

– Как мне хочется спать; я так устал, точно прошел верст двадцать!

– Очень хорошо, сейчас пообедаем и можешь лечь часа на два. А потом пойдем в гости к Али Мохаммеду. Он здесь почти единственный ведет европейский образ жизни. Дом его прекрасно и с большим вкусом обставлен. Очень элегантная смесь Азии и Европы. Женщины его семьи образованны и ходят дома без паранджи, а это целая революция для здешних мест. Много раз ему угрожали всяческими гонениями муллы и другие высокопоставленные религиозные фанатики за нарушение местных обычаев. Но он все так же ведет свою линию. Все до последнего слуги в его доме грамотны. Слугам предоставляются часы полного отдыха и свободы среди дня. Это здесь тоже революция. И я слышал, что против него теперь собираются устроить религиозный поход. А в здешних диких краях это вещь страшная.

Разговаривая, мы пришли к себе, умылись в ванной комнате, устроенной прямо в саду из циновок и брезента, и уселись у давно накрытого стола обедать.

Хороший освежающий душ и вкусный обед вернули мне бодрость.

Брат весело смеялся, журил меня за рассеянность и рассказывал всевозможные комические сценки, которые ему приходилось наблюдать в здешнем быту; восхищался сметливостью русского солдата и его остроумием. Редко когда восточная хитрость торжествовала над русской проницательностью, обманувший русского солдата восточный торговец зачастую расплачивался за свою нечестность. Солдаты придумывали такие трюки, чтобы наказать обманщика, такой смешной фарс разыгрывался над торговцем, совершенно уверенным в своей безнаказанности, что любой режиссер мог бы позавидовать их фантазии.

Надо сказать, что злых шуток солдаты никогда не проделывали, но комические положения, в которые попадал обманщик, надолго отучали его от привычки к надувательству.

Так незаметно мы кончили обедать, и желание поспать у меня улетучилось. Мне вздумалось попросить брата примерить подаренный мной ему халат.

Сбросив китель, брат надел халат. Глубокий фиолетовый тон как нельзя больше шел к его золотистым волосам и загорелому лицу. Я им невольно залюбовался. Где-то в глубине мелькнула завистливая мысль – «а мне никогда красавцем не бывать».

– Как удачно ты это купил, – сказал брат. – Халатов у меня, правда, много, но их я уже надевал, этот же мне нравится особенно. Ни на ком такого не видел. Непременно надену его вечером, когда пойдем в гости к соседу. Кстати, заглянем-ка в «туалетную», как важно зовет денщик гардеробную, и выберем для тебя халат.

– Как, – воскликнул я с удивлением, – разве мы пойдем туда ряжеными?

– Ну зачем же «ряжеными»? Мы просто оденемся так, как будут одеты все, чтобы не бросаться в глаза. Сегодня у Али будут не только друзья, но и немалое количество врагов. Не станем же мы дразнить их европейской одеждой.

Однако когда брат открыл большой шкаф, в нем оказалось не восемь, а десятка два всевозможных халатов из разных материй. Я даже вскрикнул от удивления.

– Тебя поражает это количество? Но ведь здесь носят сразу семь халатов, начиная с ситцевого и кончая шелковым. Кто побогаче, носят три-четыре шелковых; кто победнее, только ситцевые, но непременно надевают сразу несколько друг на друга.

– Мой Бог, – сказал я, – да ведь в этакую жару, напялив несколько халатов, можно почувствовать себя в жерле Везувия.

– Это только так кажется. Тонкая материя не тяжела, а надетая одна на другую не дает возможности солнечным лучам сжигать тело. Вот попробуй облачиться в эти два халата. Ты увидишь, что они невесомы и даже холодят, – сказал брат, протягивая мне два белых, очень тонких шелковых халата. – Очень уж истоно, как полагается по здешней традиции, мы одеваться не будем. Но по четыре халата придется надеть. Я очень тебя прошу, надень и походи; попривыкни. А то, пожалуй, вечером, по своей рассеянности, ты действительно будешь казаться «ряженым» и оконфузишь нас обоих, – продолжал брат, видя, что я все еще держу в нерешительности поданные мне халаты в руках.

Не особенно горя желанием облачаться в восточный наряд, но не желая огорчить любимого брата, я быстро разделся и стал натягивать халаты.

– Но они узкие, какие же это халаты? Это какие-то нелепые перчатки, – закричал я, начиная раздражаться.

– Их надо застегнуть, вот здесь крючок, а здесь пуговица, – сказал спокойно брат и легкими, гибкими пальцами сам застегнул на мне халаты.

– Теперь, Левушка, успокойся и надень этот зеленый халат; он пошире, его тоже надо застегнуть. В нем есть и карманы. А сверху надень еще вот этот широкий, серый с красными разводами, – и опять очень ловко он помог мне одеться.

– Да, и обувь еще, – сказал он. – У Али принят полуазиатский туалет, так что и мы с тобой можем явиться в европейских туфлях, но сверх них надо надеть кожаные калоши, которые оставляются у дверей. Иначе придется идти в одних чулках. Ни в мечеть, ни в дом не входят в уличной обуви.

Мы выбрали калоши мне по ноге, их тоже оказалось у брата несколько пар.

– Пройдем в спальню, там выберем тебе чалму.

– Как чалму? На кого же я буду похож? Я и так-то красой не блещу! Помилуй, Николушка, иди уж лучше один, – взмолился я.

Брат расхохотался:

– Да ведь ты же не собираешься покорять сердце прелестной племянницы Али? А из твоих приятельниц или приятелей никто тебя не увидит. Чего же тебе огорчаться, если восточный туалет тебя не украсит? Впрочем, – прибавил он, подумав, – если хочешь, я смогу сделать тебя неузнаваемым. Я тебе приклею длинную седую бороду, и ты можешь сойти за важного купца.

– Еще того чище! – воскликнул я. – Да этак, пожалуй, мне придется вспомнить, что меня считают неплохим актером-любителем!

– Если ты сумеешь сегодня сыграть роль хромого старика, ты, пожалуй, увидишь очень интересные и не совсем обычные вещи. Но вот жаль, у меня нет второй белой чалмы, чтобы сделать тебе белый тюрбан.

В эту минуту раздался легкий стук в дверь. Брат подошел к двери, и я услышал его приятно удивленное восклицание:

– Это вы, Махмуд! Войдите. Я как раз занят нарядом брата к вечеру. Хочу сотворить из него старого купца с седой бородой.

– А я принес белую чалму и камень. Дядя просит вашего брата принять их как подарок от Наль в день ее совершеннолетия, – и он подал мне сверток и футляр.

– А это вам от Наль, – и он подал брату два свертка и два футляра.

– Не забудьте, что вам нужно хромать на левую ногу и крепко опираться на палку правой рукой. А левой почаще гладить бороду, если вы хотите сыграть роль старого купца. У меня есть такой знакомый в Б., очень важный человек, – говорил мне Али-молодой. Он улыбался, алые прелестные губы обнажали чудесные зубы, а его фиолетовые глаза пристально – не по летам серьезно – смотрели на меня.

Кивнув нам головой и приложив, по восточному обычаю, руку ко лбу и сердцу, Али так же бесшумно скрылся, как и вошел.

Я развернул свой сверток, и оттуда выпал отрез тончайшей белой материи. Любопытство мое было так сильно, что, даже не подобрав упавшего шелка, я раскрыл футляр, и у меня вырвалось восклицание восторга и удивления.

Прекрасной работы брошь с крупным выпуклым рубином и несколькими бриллиантами, перевитая змеей из темного золота и жемчуга, сверкала в полутемной комнате, и я не мог оторвать от нее глаз.

Брат поднял оброненную мною ткань и, рассматривая брошь вместе со мною, сказал:

– Али-старший посылает тебе от имени племянницы белую чалму – эмблему силы; и красный рубин – эмблему любви. Этим он причисляет тебя к своим друзьям.

– А что же он послал тебе? – любопытствовал я.

Брат развернул сверток побольше, и в нем оказался тончайший белый халат из никогда невиданной мною материи, похожей на белую замшу, но по тонкости равной папиросной бумаге. К нему была приложена записка на арабском языке, которую брат спрятал, не читая, в карман. Во втором свертке была такая же чалма, как моя, только в самом ее начале синим шелком, арабскими буквами, была выткана во всю ширину чалмы – а она была чрезвычайно широка – какая-то фраза. Я мало обратил внимания и на записку, и на арабскую фразу; мне хотелось скорее увидеть содержимое футляров брата. «Если мне он шлет привет силы и любви, то что же он посылает Николушке?» – думал я.

Наконец брат свернул осторожно свою чалму, спрятал ее в ящик бюро и открыл футляр побольше. Оттуда сверкнули крупные бриллианты в форме треугольника, внутри которого выпуклый изумруд овальной формы сиял голубовато-зеленым светом. В маленьком футляре оказался перстень с таким же овальным выпуклым изумрудом в простой платиновой оправе.

– Вот так совершеннолетие Наль! – почти закричал я. – Если всем своим друзьям Али рассылает в этот день такие подарки, то уж наверное половину своего виноградника, который так расхваливал мне купец в торговых рядах, он раздаст сегодня. И зачем мужчинам эти брошки? Это чудесные украшения для женщин, но ведь Али знает, что мы с тобой не женаты.

– Этими брошками-булавками мы заколем наши чалмы над самым лбом. Получить такую булавку в подарок – огромная честь; и ее далеко не всем оказывают на Востоке, – ответил брат. – Али живет здесь лет десять; сам он родом откуда-то из глубин Гималаев, и все восточные обычаи гостеприимства и уважения к дружбе чтятся в его доме.

Время быстро летело. Сумерки уже сгущались, и вскоре должна была наступить мгновенно опускающаяся здесь ночь.

– Пора начинать твой грим, а то мы можем оказаться невежливыми и опоздать.

С этими словами брат выдвинул ящик бюро, и... я еще раз обмер от удивления.

– Ну и ну, – сказал я. – Почему же ты ни разу не писал мне, что играешь в любительских спектаклях?

Весь ящик был полон всяческого грима, бород, усов и даже париков.

– Нельзя же все написать, а еще менее возможно все рассказать в несколько дней, – усмехаясь, ответил брат.

Он посадил меня в кресло и, как заправский гример, приклеил мне бороду и усы, протерев предварительно все лицо какой-то бесцветной жидкостью с очень приятным запахом, освежившей мое горевшее от непривычного солнца лицо.

Коричневым карандашом он провел слегка под моими глазами два-три легких штриха. Какой-то жидкостью перламутрового цвета прикоснулся к моим густым темным бровям. Смазал каким-то кремом губы и сказал:

– А теперь чуть-чуть подравняю твои кудри, чтобы черные волосы не выбились из-под чалмы. Садись сюда. – И с этими словами он усадил меня на табурет.

Мне, признаться, жаль было моих вьющихся волос, которые я справедливо считал единственным своим козырем. Но в жару так приятно иметь коротко остриженную голову, что я сам попросил остричь меня под машинку.

Вскоре голова была острижена, и я хотел встать с табурета.

– Нет, нет, сиди, Левушка. Я сейчас обовью твою голову чалмой.

Я остался сидеть, брат развернул чалму, оказавшуюся длиннее, чем я предполагал, беспоощадно стал скручивать ее жгутом и довольно быстро, ловко, крепко, но без малейшего давления где-либо замотал всю мою голову.

– Голова готова; теперь ноги. Надевай эти длинные чулки и туфли, – сказал он, достав мне из картонки в углу белые чулки и довольно простоватые на вид туфли.

Я все это надел и встал на ноги; но сразу почувствовал какую-то неловкость в левой туфле. Невольно я как-то припал на левую ногу, а брат услужливо сунул мне в правую руку палку.

– Теперь ты именно тот немой, глухой и хромой старик, которого тебе надо изобразить, – засмеялся брат.

Я разозлился. От непривычной бороды мне было жарко; жидкость, которой было смазано мое лицо, – вначале такая приятная, – сейчас отвратительно стягивала кожу; ноге было неудобно и, вдобавок ко всему, я еще, оказывается, должен считаться немым и глухим.

Со свойственной мне раздражительностью я хотел раскричаться и заявить, что никуда не пойду; и уже приготовился было сорвать бороду и чалму, как дверь беззвучно отворилась, и в ней появилась высоченная фигура Али-старшего.

Взгляд его агатовых глаз положительно парализовал меня. Чалма так плотно прикрывала мне уши, что я ровно ничего не слышал, о чем говорил он с братом.

На нем был надет почти черный – так густ был синий цвет – халат; а под ним сверкал другой, ярко-малиновый плотно прилегающий к телу. На голове белая чалма и большая бриллиантовая брошь, изображавшая павлина с распушенным хвостом...

Приветливо и ласково улыбаясь, он подошел ко мне с протянутой рукой. Когда я подал ему руку, он пожал ее; и опять по всему моему телу пробежал ток теплоты, и на этот раз не сонной лени, а какой-то радости.

Али снял со своего пальца кольцо с красным камнем, на котором был вырезан лев в обрамлении каких-то иероглифов. Наклонившись к самому моему уху, он сказал:

– Это кольцо откроет вам сегодня все двери моего дома, куда бы вы ни захотели пройти. И оно же поможет вам, если когда-нибудь в жизни вы будете ранены и рана будет кровоточить.

Увлечшись кольцом, я не заметил, как рядом с Али выросла другая стройная высокая фигура. Я даже не сразу понял, что это именно брат и стоит возле Али в подаренном мной сегодня сине-фиолетовом халате. Я видел стройного восточного человека с сильно загорелым лицом, со светлой бородой и усами, на белой чалме которого сиял треугольник из бриллиантов и изумруда. Мой брат был высок ростом. Но рядом с высоченным Али он казался среднего роста.

– Посмотри на себя в зеркало, Левушка. Я уверен, что себя ты не узнаешь еще в большей мере, чем не узнал меня, – со смехом обратился ко мне брат, очевидно заметив мое полное недоумение.

Я двинулся к зеркалу, совершенно естественно хромя в своей неудобной левой туфле.

– Вы отличный артист, – едва улыбнувшись, сказал Али. Но вся его фигура выражала такой заразительный юмор, что я расхохотался.

Смеясь, я вдруг увидел в зеркале очень смуглого, чуть-что не черного хромящего старика. Я огляделся по сторонам и вдруг услышал такой взрыв веселого, раскатистого хохота Али и брата, что невольно обернулся и с удивлением посмотрел на них. Хохот их еще больше

усилился; между тем я случайно еще раз взглянул в зеркало и снова увидел в нем смуглого араба-старика. С трудом я осознал, что этот черный араб – я сам.

Я поднес руку к глазам, убедился, что не сплю, и спросил брата, почему же я такой черный. Как это могло случиться? На мой вопрос он мне ответил:

– Это, Левушка, жидкость сделала свое дело. Но не тревожься. Завтра же ты будешь снова бел, еще белее, чем всегда. Другая, такая же приятная жидкость смоев всю черноту с твоего лица.

– А теперь не забудьте, друг, что на весь этот вечер вы хромы, немые и глухи, – сказал, смеясь, Али. С этими словами он поправил на мне чалму, нахлобучив ее на мои уши так, что теперь я уж и в самом деле не мог ничего слышать, но понял, что он предлагает мне взять его руку и идти с ним. Я посмотрел на брата, который успел привести комнату в полный порядок, он кивнул мне, и мы вышли на улицу.

Глава 2

У Али

На улице Али шел впереди, я посередине, и брат мой сзади.

Мое состояние стало каким-то отупелым от удушливой жары, непривычной одежды, бороды, которую я все трогал, проверяя, крепко ли она сидит на месте, неудобной левой туфли и тяжелой палки. В голове было пусто, говорить совсем не хотелось, и я был доволен, что по роли этого вечера я нем и глух. Языка я все равно не понимаю, и теперь мне ничто не будет мешать наблюдать новую незнакомую жизнь. Мы перешли улицу, миновали ворота, по обыкновению крепко запертые, завернули за угол и через железную калитку, которую открыл и закрыл сам Али, вошли в сад. Я был поражен обилием прекрасных цветов, издававших сильный, но не одуряющий аромат.

По довольно широкой аллее мы направились в глубину сада и подошли к освещенному дому. Окна были открыты настежь, и сквозь них был виден большой длинный зал, в котором были расставлены небольшие, низкие круглые столики, придвинутые к низким же широким диванам, тянувшимся по обеим сторонам зала. Подле каждого столика стояло еще по два низких широких пуфа, как бы из двух сложенных крест-накрест огромных подушек. На каждом пуфе – при желании – можно было усесться по-восточному, поджав под себя ноги.

Весь дом освещался электричеством, о котором тогда едва знали и в столицах. Али был активным его пропагандистом, выписал машину из Англии и старался присоединить к своей, довольно мощной, сети, своих друзей. Но даже самые близкие его друзья не решались на такое новшество, только один мой брат да два доктора с радостью осветили свои дома электричеством.

Пока мы проходили по аллее, навстречу нам быстро вышел Али-молодой, а за ним Наль в роскошном розовом халате, который я тотчас узнал, с откинутым назад богатым покрывалом. Моему взору предстал не виданный мною прежде женский головной убор, затканый жемчугом и камнями; перевитые жемчугом темные косы лежали на плечах и спускались почти до полу; улыбающиеся алые губы быстро говорили что-то Али... Я хотел сдвинуть чалму, чтобы услышать голос девушки, но быстрый взгляд Али как бы напомнил мне: «Вы глухи и немые, погладьте бороду».

Я злился, но старался ничем не выказать своего раздражения и медленно стал гладить бороду, радуясь, что я хотя бы не слеп, по виду стар и могу рассматривать красавицу, любясь ею безо всякой помехи. Девушка не обращала на меня никакого внимания. Но не требовалось быть тонким физиономистом, чтобы понять, как занято ее внимание моим братом.

Теперь мы стояли на большой террасе, со всех сторон обвитой незнакомой мне цветущей зеленью. Благодаря яркой люстре было светло как днем, так, что даже рисунок драгоценного ковра, в котором утопали ноги, был ясно виден.

Девушка?! Среднего роста, тоненькая, гибкая! Крошечные белые ручки с тонкими длинными пальцами держали две большие красные розы, которые она часто нюхала. Но мне казалось, что она старается таким образом скрыть свое замешательство. Ее глаза, громадные, миндалевидные зеленые глаза, не похожи были на глаза земного существа. Можно было предположить, что где-то, у каких-нибудь высших существ, у ангелов или гениев, могут быть такие глаза. Но с представлением об обыкновенной женщине не вязались ни эти глаза, ни их выражение.

Али предложил мне сесть на мягкий диван, а девушка и Али-молодой сели напротив нас на большом мягком пуфе. Я все смотрел, не отрываясь, на лицо Наль. И не один я смотрел на это лицо, меняющее свое выражение подобно волне под напором ветра. Глаза всех трех мужчин были устремлены на нее. И как разное было их выражение!

Молодой Али сверкал своими фиолетовыми глазами, и в них светилась преданность до обожания. Я подумал, что умереть за нее, без колебаний, он готов каждую минуту. Оба были очень похожи. Тот же тонко вырезанный нос, чуть с горбинкой, тот же алый рот и продолговатый овал лица. Но Али – жгучий брюнет, и чувствовалось, что в нем темперамент тигра, что мысль его может быть едкой, а слово и рука ранящими. А в лице Наль все было так мягко и гармонично; все дышало добротой и чистотой, и казалось, что жизнь простого серого дня, с его унынием и скорбями, не для нее. Она не может сказать ни единого горького слова; не может причинить боль; может быть только миром, утешением и радостью тем, кто будет счастлив ее встретить.

Дядя смотрел на нее своими пронзающими агатовыми глазами пристально и с такой добротой, какой я никак не мог в нем предполагать. Глаза его казались бездонными, и из них лились на Наль потоки ласки. Но мне все чудилось, что за этими потоками любви был глубоко укрыт ураган беспокойства и неуверенности в счастливой судьбе девушки.

Последним я стал наблюдать брата.

Он тоже пристально смотрел на Наль. Брови его снова, – как под деревом, – были слиты в одну прямую линию; глаза от расширенных зрачков стали совсем темными. Весь он держался прямо. Казалось, все его чувства и мысли были натянуты, как тетива лука. Огромная воля, из-под власти которой он не мог позволить произвольно вырваться ни одному слову, ни единому движению, точно панцирь облекала его. И я почти физически ощущал железное кольцо этой воли.

Девушка чаще всего взглядывала на него. Казалось, в ее представлении нет места мысли, что она женщина, что вокруг нее сидят мужчины. Она, точно ребенок, выражала все свои чувства прямо, легко и радостно. Несколько раз я уловил взгляд обожания, который она посылала моему брату; но это было опять-таки обожание ребенка, в котором чистая любовь лишена малейших женских чувств.

Я понял вдруг огромную драму этих двух сердец, разделенных предрассудками воспитания, религии, обычаев...

Али-старший взглянул на меня, и в его, таких добрых сейчас, глазах я увидел мудрость старца, точно он хотел мне сказать: «Видишь, друг, как прекрасна жизнь! Как легко должны бы жить люди, любя друг друга; и как горестно разделяют их предрассудки. И во что выливается религия, зовя к Богу, а на деле разрывая скорбью, мукой и даже смертью жизни любящих людей».

В моем сердце раскрылось вдруг понимание свободы и независимости человека. Мне стало жаль, так глубоко жаль брата и Наль! Я осознал, как безнадежна была бы их борьба за любовь! И оценил волю брата, не дававшего пробиться ни единому живому слову, но державшемуся в рамках почтительного рыцарского воспитания в своем разговоре с Наль.

Вначале такая детски веселая, девушка становилась заметно грустней, и ее глаза все чаще смотрели на дядю с мольбой и недоумением. Али-старший взял ее ручку в свою длинную, тонкую ладонь и что-то спросил, чего я расслышать не смог. Но из жеста девушки, которым она быстро вырвала свою руку, поднесла розы к зардевшемуся лицу, я понял, что вопрос был о цветке. Али снова ей что-то сказал, и девушка, вся пунцовая, сияя своими огромными зелеными глазами, поднесла одну из роз к губам и сердцу и протянула ее моему брату.

– Возьми, – сказал Али так четко, что я все расслышал. – В день совершеннолетия женщина нашей страны дарит цветок самому близкому и дорогому другу. Брат взял цветок и пожал протянувшую его ручку.

Али-молодой вскочил, как тигр, со своего места. Из глаз его буквально посыпались искры. Казалось, что он тут же бросится на брата и задушит его. Али-старший только взглянул на него и провел указательным пальцем сверху вниз – и Али-молодой сел со вздохом на прежнее место, словно вконец обессилен.

Девушка побледнела. Брови ее нахмурились, и все лицо отразило душевную муку, почти физическую боль. Ее глаза скорбно смотрели то в глаза дяди, то на опустившего голову двоюродного брата.

Али Мохаммед снова взял ее руку, ласково погладил по голове, потом взял руку моего брата, соединил их вместе и сказал:

– Сегодня тебе шестнадцать лет. По восточным понятиям ты уже зрелая женщина. По европейским – ты дитя. По моим же понятиям ты уже взрослый человек и должна вступить в самостоятельную жизнь. Не бывать дикому сговору, который так глупо затеяла твоя тетка. Ты хорошо образованна. Ты поедешь в Париж, там будешь учиться, а когда окончишь медицинский факультет, поедешь со мной в Индию, в мое поместье. Там, работая врачом, ты будешь служить людям лучше, чем в качестве жены здешнего фанатика. Мой и твой друг, капитан Т., не откажет нам в своей рыцарской помощи и поможет тебе бежать отсюда. Обменяйся с ним кольцами, как христиане меняются крестами.

Мне было странно, что, не разбирая ни одного слова девушки, я четко слышал каждое слово Али. На мизинце брат носил кольцо нашей матери, которой я совсем не помнил. Это было старинное кольцо из золота и синей эмали с крупным алмазом, тонкой, изящной работы.

Ни мгновения не раздумывая брат снял свое кольцо и надел его на средний палец правой руки Наль. Она же, в свою очередь, сняла с висевшей у пояса цепочки перстень-змею, в открытой пасти которой покоился мутный, бесцветный камень, и надела его на безымянный палец левой руки брата.

Не успел я подумать: «Какой безобразный камень! Такой же урод, как и держащая его в пасти толстая змея», – как вдруг едва не вскрикнул от изумления: камень, похожий на стекляшку, вдруг засверкал всеми цветами радуги. Ни один бриллиант самой чудесной воды и огранки не мог бы бросать таких длинных радужных лучей, сверкавших, как луч солнца, преломленный в хрустальной пирамиде.

У Али-молодого вырвался из груди стон. И снова взгляд дяди заставил его успокоиться, снова он опустил голову на грудь.

– Это камень жизни, – сказал Али-старший. – Он оживает, принимая в себя электричество из организма человека. Ты, друг Николай, сейчас в полном расцвете сил и сердце твое чисто. Вот камень и сверкает ослепительно. Чем старше ты будешь становиться, тем тусклее будут лучи камня, если только мудрость и сила духа не придут к тебе на смену физических сил. Ты отдал моей племяннице самое дорогое, что имел, – любовь матери, закованную в это кольцо. Наль отдала тебе дар мудреца-прадеда, завещавшего ей передать кольцо тому, кого будет любить так сильно и верно, что и на смерть пойдет за него.

Я нечаянно взглянул на молодого Махмуда. Не цветущий юноша сидел напротив меня, а привидение с прозрачным мертвенным лицом, с тусклыми, ничего не видящими глазами. Я подумал, что он в обмороке и лишь держится в сидячем положении, случайно найдя устойчивую позу.

– Сегодня, – продолжал Али Мохаммед, – должна совершиться та великая перемена в твоей жизни, о которой я тебе говорил месяц назад, моя Наль, и к которой я готовил тебя более пяти лет. Капитан Т. отведет тебя и двух твоих преданных слуг к себе домой. Али пойдет с тобой. Там ты найдешь европейское платье для себя и слуг, переоденешься, отдашь свой халат и покрывало Али, и вместе с капитаном Т. вы все уедете на станцию железной дороги. Али же вернется сюда. Доверься чести и любви капитана. Он отвезет тебя в такой город и в такое место, где ты будешь в полной безопасности ждать меня или моего посла. Ни о чем не беспокойся. Храни только верность единственному закону, закону мира и гармонии. Будь мужественна и жди меня без страха и волнений. Раньше или позже, – но я приеду. Повинуйся во всем капитану Т. и не бойся оставаться без него. Если он временно тебя покинет, – значит,

так будет необходимо. Но если случится такая необходимость, он оставит тебя под охраной верных друзей. А теперь выйдем в сад все вместе.

Мы вышли в сад. Али-молодой подал мне руку, чтобы помочь сойти со ступенек террасы. Внезапно весь дом погрузился во тьму, где-то перегорели пробки.

Пользуясь полным мраком, брат, Наль, Али и еще две фигуры тихо вышли из сада через калитку. Али-старший что-то шепнул племяннику, и тот согласно кивнул головой.

В темноте бегали какие-то фигуры, слуги зажгли кое-где свечи, отчего тьма показалась еще гуще. Так прошло с четверть часа. Мне померещилось, что я увидел снова Наль в том же розовом халате, с опущенным на лицо покрывалом. Как будто даже Али Мохаммед обнял ее за плечи; но среди пестрых впечатлений этого дня я уже не мог отдать себе ясного отчета ни в чем и подумал, что мне просто привиделся облик той, красота которой точно врезалась в мое сознание.

Между тем свет вдруг ярко вспыхнул, еще три раза мигнул и полился ровно.

– Настал час съезда гостей, – четко сказал Али Мохаммед, и я опять его понимал. – Не забудьте – вы хромаете на левую ногу, вы глухи и немые. Вам будут много и почтительно кланяться. Не отвечайте никому на поклоны, только мулле едва кивнете. Не ешьте ничего с общего стола. Кушайте только то, что вам будет подано с моего. К концу ужина настанет час выхода Наль. Она будет укутана в роскошные покрывала. Всеобщее внимание будет приковано к условному похищению Наль женихом. К вам подойдет мой друг и проведет вас к задней калитке сада. Там будет стоять сторож. Вы ему покажете кольцо, что я вам дал, вас выпустят, и вы пройдете другой дорогой к себе домой. Дома вы найдете письмо брата. Вы снимете свою одежду, спрячете все, как вам будет сказано в письме. Придется вам немало поработать, чтобы привести в порядок дом. Надо, чтобы денщик ничего особенного не обнаружил, когда станет убирать комнаты.

С этими словами Али оставил меня и пошел навстречу группе гостей; им открыли калитку возле ворот, которой я раньше не заметил. Высокая фигура хозяина выделялась на целую голову над группой гостей в пестрых одеждах. Некоторым он важно отвечал на поклон, и они проходили дальше. Другие задерживались возле него, и он пожимал им по-европейски руки. Гости все подходили, и вскоре вся аллея и веранда были густо усеяны живописными фигурами. Говор, смех и радостное ожидание вкусного угощения, какие-то, очевидно веселые, рассказы – все создавало приподнятое настроение. Но, приглядываясь, я заметил, что гости держатся обособленными кучками. Те, что были одеты не совсем по-азиатски, держались особняком. А остальные все поглядывали на муллу, как музыканты на дирижера.

Я поневоле пристально присматривался ко всем, думая обнаружить, не загримированы ли чьи-либо лица подобно моему, искусственную бороду которого я так важно поглаживал.

Время незаметно шло, гости входили теперь реже, где-то заиграла восточная музыка, и из дома вышло несколько слуг, приглашая гостей в зал.

В самой глубине зала, у дверей в соседнюю комнату стоял Али Мохаммед с еще не виденным мною очень высоким человеком в белой одежде и такой же чалме. У него была золотистая борода, огромные темно-зеленые прекрасные глаза, слегка загорелое лицо. Очень стройный, человек этот был молод, лет 28–30, и бросался в глаза своей незаурядной красотой. Ростом он был чуть ниже Али, но много шире в плечах, необычайно пропорционален, – настоящий средневековый рыцарь. Я невольно представил его себе в одежде Лознгринга.

Хозяин приветствовал всех входивших в зал глубоким поклоном. Гости рассаживались на диваны и пуфы, соблюдая все тот же порядок и держась отдельными кучками. Все, входя, оставляли туфли или кожаные калоши у входа, где их подбирали слуги и ставили на полки. Среди гостей не было ни одной женщины.

Я стоял, наблюдая, как проходят и усаживаются гости, и не представлял, куда я могу сесть. Я уже хотел было скрыться в саду, как почувствовал на себе взгляд Али. Он сказал что-

то мальчику-слуге, и тот быстро направился ко мне. Почтительно поклонившись, он жестом пригласил меня следовать за собой и повел к столу, стоявшему неподалеку от стола хозяина.

За этим столом уже сидело двое мужчин средних лет в цветных чалмах и пестрых халатах. Они сидели по-европейски, обуты были в европейскую обувь, а поверх европейских костюмов на них было надето только по одному шелковому халату. Они почтительно поклонились мне глубоким восточным поклоном. Я же, помня наставление Али, даже не кивнул им, а просто сел на указанное мне место.

Только когда все гости расселись, Али и высокий красавец заняли свои места. Музыка заиграла ближе и громче, и одновременно слуги стали вносить дымящиеся блюда. Мальчики разносили фарфоровые китайские пиалы и серебряные ложки, подавая их каждому гостю.

Но не все гости накладывали в пиалы жирный, дымящийся плов ложками и использовали их при еде. Большинство запускали руки прямо в общее блюдо, а потом ели плов руками, что вызывало во мне чувство отвращения, близкое к тошноте. Хотелось убежать, хотя никогда прежде не виденная мною толпа представляла собой чрезвычайно интересное зрелище восточных красок и нравов.

На наш стол тоже подали блюдо плова, но я не прикасался к нему, помня наставление Али и ожидая специального кушанья. И действительно, от его стола отделилась высокая фигура поразившего меня красавца, и он подал мне серебряную пиалу с небольшой золотой ложкой.

Очевидно, честь, оказанная мне, считалась по здешним обычаям очень высокой, потому что на мгновение в зале умолк говор и шум, и вслед за наставшей тишиной пронеслись удивленные восклицания.

Гости, судя по жестам и мимике, спрашивали друг друга, кто я такой. Многие очень серьезно поглядывали на меня, что-то говорили своим соседям, и те удовлетворенно кивали головой. Но в это мгновение внесли новые ароматные блюда, и всеобщее внимание отвлеклось от меня.

Я невольно встал перед державшим мою чашу красавцем. Он улыбнулся мне, поставил пиалу на стол и поклонился по-восточному. От его улыбки, от добрых его глаз, от какой-то чистоты, которой веяло от него, меня наполнила такая радость, как будто я увидел старого, верного друга. Я отдал ему глубокий восточный поклон.

Мои соседи по столу задавали мне какие-то вопросы, которых я не понял и не расслышал, а видел только их шевелящиеся губы и вопрошающие глаза. Меня выручил мальчик, сказавший им что-то, показывая на рот и уши. Сотрапезники мои покачали головами и, сочувственно поглядев на меня, с аппетитом принялись за свой плов, слава богу, накладывая его ложками в пиалы. Я поглядел на содержимое моей серебряной пиалы и несказанно удивился. Там, по виду, был компот из фруктов, а у меня уже разыгрался аппетит, и я с удовольствием поел бы чего-нибудь более существенного. Я разочарованно взглянул на Али Мохаммеда, он встретил мой взгляд, как будто зная, что я буду разочарован. В его руках была точно такая же пиала, как моя, он ее приподнял, словно желая чокнуться со мной, и ласково улыбнулся. Чтобы не показаться невежливым и невоспитанным гостем, я взял и съел небольшой кусочек неизвестного мне плода, плавающего в соку, напоминавшем красное вино. И в тот же миг улетучилось все желание более основательной пищи. Плоды имели чудесный вкус и аромат, вроде ананаса, а сок был бодрящим и прохлаждающим. Я ел с таким удовольствием, что даже перестал наблюдать за происходящим.

А между тем наблюдать было что.

Оба моих соседа сняли свои халаты и пиджаки и остались в одних шелковых рубашках и широких черных поясах, заменявших жилеты. Аналогичный эффект жара возымела и на более европеизированных гостей, сидевших за другими столами.

Правоверные же, обливаясь потом, отирая его рукавами с лоснящихся лиц, усердно ели, нередко пятная свои драгоценные халаты, но никто не снимал ничего из своей одежды. Чув-

становилось, что жара и тяжелые яства доводили гостей до изнеможения. Позы их становились вольнее, голоса громче, затевались споры, нередко сопровождавшиеся размахиванием рук и возбуждением некоторых гостей, что очень напоминало ссоры. Компот, поданный мне красавцем, обладал, очевидно, каким-то волшебным свойством. Мне перестало быть жарко, уже не хотелось содрать с себя чалму, я был бодр и ощущал бодрость во всем теле. Мне казалось, что я могу легко пройти сейчас верст десять, словно и не было вовсе утомления и волнений дня. Мысль моя обострилась, я стал внимательно наблюдать за всеми.

Полное спокойствие и самообладание, появившаяся во мне уверенность в самом себе и какая-то новая сила взрослого мужчины, которой я еще ни разу не испытывал, удивила меня самого. Я вспомнил брата, Наль и Али-молодого. Почему-то у меня не было ни малейшего беспокойства за тех двоих, но Али-молодого я стал беспокойно искать глазами по всему залу. Мне пришла на память фигура Наль в розовом халате, которую я заметил в темноте сада. Я продолжал искать двоюродного брата Наль, но найти его не мог. Случайно мой взгляд встретился с взглядом хозяина, и я точно прочел в нем: «Храните самообладание и помните, когда вам уйти и что делать дома». Волна какого-то беспокойства пробежала по мне, точно порыв ветра, заставляющий мигать пламя свечи, – и снова я вернулся к полному самообладанию.

Между тем блюда сменялись много раз, уже были расставлены всюду горы фруктов и сладостей. Мои соседи ели сравнительно мало плова, но зато дыни поглощали в несметном количестве, посыпая их перцем.

Снова отделилась от стола Али великолепная фигура золотоволосого красавца, и он подал мне чашу с какими-то другими фруктами, напоминавшими по внешнему виду зерна риса в меду. Нагнувшись, он незаметно сунул мне в руку записку, опять низко поклонился и отошел. Я хотел отдать ему поклон, но не смог встать, мне не повиновались ноги. При свойственной мне смешливости, я расхохотался бы во все горло, если бы щеки не стягивала так сильно борода. Я развернул записку, там было написано по-английски: «Сначала съешьте то, что я вам сейчас принес. Не пытайтесь встать, пока не съедите этого кушанья. Вам непривычны наши пряные блюда, от них ноги – как от некоторых сортов вин – вам не повинуются. Но через некоторое время, после принятия новой пищи, все будет в порядке. Не забудьте, в конце пира вам надо уйти, я сам отведу вас к калитке. Когда подыметесь шум, встаньте и немедленно идите к столу хозяина, я вам подам руку, и мы сойдем в сад».

Я не хотел раздумывать над сотней таинственных и непонятных мне вещей. Но стать вновь хозяином своих ног я очень хотел, а потому поторопился съесть содержимое чаши. Было очень похоже на маленькие катышки сладкой каши в соусе из меда, вина, ванили и еще каких-то ароматных вещей. Мои соседи уже давно перестали обращать на меня внимание. Они следили, казалось мне, с возрастающим беспокойством за усиливающимся шумом и возбуждением гостей.

Я попробовал теперь двинуть ногой, привстал, как бы поправляя халат, – ура! Ноги мои вновь тверды и гибки. Шум в зале стал напоминать воскресный гул базарной площади. Кое-где за столиками шли ожесточенные споры, гости размахивали руками и со свойственной Востоку экспрессией выкрикивали визгливыми голосами какие-то слова. Мне показалось, что я уловил «Наль» и «Аллах». Шум в зале все усиливался. И тут я вспомнил, что мне пора вставать и двигаться к столу Али. Я хотел быстро подняться, но неловкость в левом башмаке сразу же заставила меня образумиться и войти в роль хромого. Я отдал должное уму и наблюдательности брата. Не будь этого неудобного башмака, толстой чалмы и склеивающей движение губ неуклюжей бороды, я бы уже сто раз забыл, что должен играть роль глухого, немого и хромого.

Взглянув на Али, я увидел, что мой красавец уже поднялся и двинулся навстречу. С огромным трудом я вылез из-за стола, оставив свои пиалы и ложку. Заметив мое затруднение, золотоволосый великан в один миг очутился возле меня; а мальчик, подскочив с листом мягкой белой бумаги, в один миг завернул обе мои серебряные чаши и ложку и подал мне их, что-то

лопоча с глубоким поклоном. Видя, что я удивленно смотрю на него и не беру сверток, он стал почтительно совать мне его в свободную от палки левую руку.

– Возьмите, – услышал я над собой голос. – Таков обычай. Возьмите скорее, чтобы никому не пришлось в голову, что вы не знаете местных обычаев. Мальчик так усердно кланяется вам, потому что думает, что вы очень важная персона и недовольны столь малым подарком в день совершеннолетия. Пойдемте, пора, – закончил он свою английскую фразу и поддержал меня под левую руку.

Я едва шел, неудобный башмак так жал мне ногу, что я почти подпрыгивал и, пожалуй, без помощи красавца-гиганта не смог бы сойти с невысокой, но крутой лесенки в сад.

Едва мы сделали несколько шагов по аллее, как во всем доме потух свет. В зале раздался рев не то радости, не то озорства и негодования. Возле нас мелькнула чья-то тень и набросила на моего провожатого какое-то легкое плотное покрывало, которое задело и меня. Мой проводник схватил меня, как малого ребенка, на руки и бросился в гущу сада. Добежав до калитки, мы столкнулись со сторожем, которому я показал перстень, данный мне Али Мохаммедом, и он беспрекословно пропустил нас на улицу. Мой спутник сказал ему несколько слов, он почтительно поклонился и закрыл калитку.

Мы очутились на пустынной улице. Глаза попривыкли к темноте, из сада неслся шум, но больше ничего не нарушало ночной тишины. Небо сияло звездами. Мой спутник опустил меня на землю, снял с меня неудобную туфлю. Наклоняясь ко мне, он стащил с меня и чалму и, пристально глядя мне в глаза, сказал:

– Не теряйте времени. Жизнь вашего брата, Наль и ваша зависит во многом от вас. Если вы в точности выполните все, как указано в письме, которое лежит на подушке вашего дивана, – все будет хорошо. Забудьте теперь, что вы были хромы, глухи и немые; но помните всю жизнь, как вы играли роль старика на восточном пире. Будьте здоровы, завтра утром я вас навещу. А сегодня, что бы вы ни услышали, – ни в коем случае не покидайте дом и даже не выходите во двор.

Сказав мне все это по-английски, он пожал мне руку и исчез во тьме.

Когда я отворял дверь нашего дома, то увидел, что свет в саду Али снова вспыхнул. «Значит, горит и у нас», – подумал я. Обнаружив небольшую полоску света из-под двери кабинета, я пошел туда и поразился беспорядку, царившему там, при щепетильной аккуратности брата.

Очевидно, здесь несколько человек переодевались. Но я мало обратил внимания на внешний беспорядок. Все мои мысли были заняты судьбой брата. Плотнo закрыв дверь, я запер ее на ключ, задернул на ней тяжелую портьеру и поправил складки на полу, чтобы свет не проникал в щель.

«Прежде всего, – думал я, – надо прочесть письмо».

Удостоверившись, что ставни на окнах закрыты, синие шторы спущены и плотные портьеры задернуты, я прошел в свою комнату. Здесь у самого дивана горела небольшая лампа. Окна тоже были укрыты плотно, и сильная жара становилась невыносимой. Мне хотелось раздеться, но мысль о письме точно заколдовала меня. Я бросил палку, снял верхний халат, подошел к дивану и на подушке увидел большой синий конверт, на котором рукой брата было написано: «Завещание».

Я схватил толстый конверт, осторожно его разорвал и вынул из него два письма и записку. Одно из писем было длиннее и имело ту же надпись, сделанную рукой брата: «Левушке». На другом незнакомом мне круглым, полудетским, женским почерком было написано: «Другу, Л.Н.Т.»

Я прежде всего развернул записку. Она была коротка, и я жадно ее прочел. «Левушка, – писал мне брат, – некогда. Из большого письма ты узнаешь все. А сейчас не медли. Сними грим с лица и рук жидкостью, что стоит у тебя на столе. Все костюмы, что брошены в комнате, а также все с себя спрячь в тот шкаф в гардеробной, который я тебе показал сегодня. Туда же

спрячь и флакон с жидкостью для грима. Когда закроешь плотно дверцы шкафа, нажми справа в 9-м цветке обоев, считая от пола, совсем незаметную кнопку. Сверху опустится обитая теми же обоями легкая стенка и закроет шкаф. Но осмотри внимательно все, не забудь чего-либо из одежды».

Я мгновенно вспомнил, что провожавший меня покровитель снял с моей головы чалму и сдернул с левой ноги туфлю. Я очень обеспокоился, не потерял ли их дорогой. Но, поглядев на сверток с чашами, сунутый мне мальчишкой, я рядом с ними увидел и уродливую туфлю и чалму. Очевидно, мой спутник дал мне все это в руки, и я машинально держал все вместе, а войдя в комнату, бросил на стол.

Я достал вату, сначала смочил руки жидкостью из флакона, и они сразу стали снова белыми. Я подумал, что придется долго возиться с лицом из-за бороды; но ничуть не бывало. Похожая на молоко, приятно пахнущая жидкость сразу сняла всю черноту с лица; борода сразу отстала, мне сделалось легко и даже не так жарко. Я сбросил еще один халат, оставшуюся туфлю и чулки, надел легкие ночные туфли и пошел убирать комнату брата.

В царившем, как мне показалось вначале, хаотическом беспорядке все же была какая-то система. Все халаты были собраны в один узел; остальные принадлежности туалета тоже были связаны в узлы.

Оставалось все унести в гардеробную. Я подумал о денщике, но вспомнил, что он отличался таким богатырским сном, что даже пушечная пальба и та не будила его, как говорил брат. И действительно, едва я вышел в коридор, как могучий храп денщика заставил меня улыбнуться. Мои легкие шаги вряд ли могли нарушить его сон. Несколько раз мне пришлось пропутешествовать из кабинета с узлами в гардеробную. Наконец, я убрал всю обувь, оставались чалмы. Я узнал чалму брата по треугольнику с изумрудом. На туалетном столе лежал и футляр от него. Я хотел было отколоть его и спрятать в футляр, но решил выполнить дословно приказ записки, взял все чалмы, подобрал и футляры и отнес все в шкаф. Тут же снял я и всю свою одежду, собрал бороду, палку, чалму, сверток с чашами и несносную туфлю и все это бросил тоже в шкаф. Я еще раз вернулся, внимательно осмотрел все комнаты, нашел еще футляр от своей булавки для чалмы и снова отнес в шкаф.

Еще и еще раз я осмотрел внимательно все закоулки в комнате брата и наконец решился нажать кнопку, которую отыскал не без труда в 9-м цветке обоев. Девятым цветком, считая снизу, было много и наконец на одном из них, отнюдь не самом близком к шкафу, мне удалось найти что-то похожее на кнопку. Сначала ничего не было заметно; я уже стал терять терпение и называть себя ослом, как легкий шелест заставил меня поднять глаза. Я едва не подпрыгнул от радости. Медленно поползла сверху стенка и через несколько минут, все ускоряясь в движении, мягко опустилась на пол. «Волшебство, да и только», – подумалось мне и, действительно, если бы я собственными руками не убрал все в шкаф, я никогда не мог бы предположить, что комната эта имела когда-нибудь другой вид.

Но раздумывать было некогда, все виденное и пережитое мною за день слилось в такой сумбур, что я теперь даже неясно отдавал себе отчет, где кончалась действительность и начинался мир моих фантазий. Я потушил свет в гардеробной, в которой вообще не было окон, запер двери и снова вернулся в кабинет. На полу валялось несколько бумаг, какие-то обрывки писем и газет. Все это я тщательно собрал, как и куски грязной ваты в своей комнате, бросил в камин и сжег.

Теперь я мог успокоиться, потушил свет и перешел в свой «зал». Мне хотелось пить, но жажда прочесть письма была сильнее физической жажды. Я перечел еще раз записку, убедился, что все по ней выполнил, и сжег ее на спичке.

Мне послышался шум на улице, как будто глухо прокатилось несколько выстрелов, и снова все смолкло.

Я лег и начал читать письмо брата. Чем дальше я читал, тем больше поражался; и образ брата Николая вставал передо мною другим, нежели я привык его себе рисовать. Много, много лет прошло с той ночи. Не только я уже в поре старчества, не только нет в живых брата Николая и многих из участников побега Наль, но и вся жизнь вокруг меня изменилась; пришла война, одна, другая, третья, пронеслись тысячи встреч и впечатлений, а письмо брата Николая все стоит перед моим взором таким, каким я воспринял его всем сознанием в ту далекую, незабвенную ночь. Вот оно, это письмо:

«Левушка!

Письмо это ты прочтешь тогда, когда настанет час моего большого испытания. Но этот час будет также и твоим огненным часом; и тебе придется проверить и выказать на деле твою верность и преданность брату-отцу, как ты любил называть меня в исключительные моменты жизни.

Теперь я обращаюсь к тебе как к брату-сыну. Собери все свое мужество и выкажи честь и бесстрашие, которые я старался в тебе воспитать.

Моя жизнь раскололась надвое. Я – христианин, офицер русской армии – полюбил магометанку. И отлично знаю, что в этой любви не бывать радостному концу. Сеть религиозных, расовых и классовых предрассудков представляет из себя такую стену, о которую может разбиться воля не только одного человека, но и целого войска.

Как я встретил ту, кого люблю? Как познакомился?.. Все узнаешь, если конец истории не будет печален; вернее, если будет история, а не простой смертный конец. Сейчас я скажу тебе только самое главное, то, что ты должен будешь сделать для меня, если захочешь отстаивать мою жизнь и счастье».

Дальше следовало – через несколько пустых строчек – более свежими чернилами и более нервным почерком продолжение:

«Ты уже знаешь Али Мохаммеда и молодого Али. Ты увидел Наль. Тебе предстоит разыграть роль гостя на пиру и... быть заподозренным в том, что ты выкрал Наль в тот час, когда ее жених должен был, по здешнему обычаю, похитить свою невесту. Если ты не захочешь выдать меня, если ты будешь хорошо играть свою роль, как тебе это укажут Али-старший и его друг, – мы с Наль, может быть, уйдем от грозы и ужаса преследования фанатиков...

Зайди к полковнику N и скажи, что я уехал раньше него на охоту с подвернувшейся оказией и буду поджидать его у знакомого лесника, как всегда. Если же не дождусь его там, то проеду дальше и рассчитываю, что встретимся у купца Д. и привезем домой немало дичи; скажи, чтобы N взял с собой лишнее ружье и побольше дробы. Сходи утром, часов в 8, передай все точно и не опоздай.

Дальше во всем доверься Али Мохаммеду. Обнимаю тебя. Не думай о грозящей мне опасности. Но думай, хочешь ли добровольно, легко, просто стать защитой, а может быть, и спасением мне и Наль.

Прощай. Мы или увидимся счастливыми и радостными, или не увидимся вовсе. И в том и в другом случаях будь мужествен, правдив и честен. Твой брат Н.».

Я взглянул на часы. Было уже почти четыре часа утра. Снова мне послышался шум на улице, хлопанье точно пастушечьих бичей; показалось даже, будто в ворота дома стучат. Но я помнил наставление моего ночного спутника по дороге домой, потушил свет и стал прислушиваться. По улице быстро прокатилось несколько телег, завопили какие-то голоса, раздалось снова несколько выстрелов; начинались какие-то песни и сейчас же обрывались.

Мне казалось, что на улице происходит какой-то скандал; хотелось выглянуть откуда-нибудь, но я не решался, чтобы не навлечь подозрений на дом брата.

Сна не было ни в одном глазу, усталости также. Я зажег снова лампу, перечитал еще раз письмо брата, поцеловал его и взялся за другое.

«Друг и брат, – начиналось оно, – я только маленькая женщина. Ты меня почти не знаешь, и вот из-за незнакомой женщины в твою жизнь врывается опасность.

Брат, Али Мохаммед, мой дядя, воспитавший меня, – лучший человек, какого могла создать жизнь. Если ты захочешь помочь мне избежать ужаса брака с грубым и страшным человеком, фанатиком и другом муллы, я уверена, что мой дядя будет тебе всегда благодарен. И, в свою очередь, защитит тебя от всех опасностей, которые будут угрожать в жизни тебе.

Что я могу еще сказать, брат и друг? Я прошу помощи и ничего не могу обещать тебе взамен лично от себя. Мы, женщины Востока, любим лишь однажды, если жизнь позволяет нам любить. Ты – брат, брат-сын того, кого я люблю. Да будет же тебе моя любовь любовью сестры-матери. Останусь ли я жива или погибну, – я для тебя с этой минуты сестра-мать. Отдаю тебе поклон и поцелуй; и пусть всегда останется в твоём сердце чудесный образ твоего брата-отца, а также горячо любящей его и тебя Наль».

Снова слышался на улице шум; казалось, бежит множество ног возле самого дома и грохочут телеги. Я потушил огонь и стал вслушиваться. Где-то, теперь подальше, прогремел опять выстрел; проехала, грохоча, еще одна тяжелая телега, – и снова все смолкло. Я чиркнул спичкой и поглядел на часы. Было уже половина шестого, значит, на улице совсем светло; но я все же не решился открыть окна.

Я зажег лампу в комнате брата, взял конверты и письма, еще раз их перечел, бросил в камин и поджег.

Как странно горели письма! Вдруг, вспыхнув, почти погасли, отделилось и свернулось письмо брата, и я ясно прочел слова: «брат-отец». Затем снова все ярко вспыхнуло, а на письме Наль, точно на белом пятне в кругу огня, появились круглые буквы: «Наль». Еще раз все ярко вспыхнуло, превратилось в красные лохмотья и погасло, чтобы уже больше не явиться в нашем мире, как условная серия знаков любви, надежды, опасений, горя и верности.

Долго ли я сидел перед камином, – не знаю. За весь истекший день я не мог отдать себе отчета во всем происходившем; а эта ночь, какая-то сказочная, фантастическая ночь, расстроила мои нервы окончательно. Я старался, но не мог собрать мыслей. На сердце была такая тяжесть, какой я еще в жизни не испытывал. «Брат-отец» – все мысленно, на тысячу ладов шептал я, и слезы катились из моих глаз. Мне казалось, что я похоронил все, что имел лучшего в жизни; что я вернулся с кладбища, чтобы начать одинокую жизнь брошенного, никому не нужного существа. Но на минуту в сердце моем не возникло страха. Отдать жизнь за брата казалось мне делом таким естественным и простым. Но как защитить его? В чем может выразиться моя, такого неумелого и неопытного, помощь ему? Этого я себе не представлял.

Время шло; я все сидел без мыслей, без решений, с одною болью в сердце и не мог унять льющихся слез. Где-то очень близко пропел петух. Я вздрогнул, взглянул на часы, – было без четверти семь. «Пора», – подумал я.

У меня оставалось времени, только чтобы одеться и идти к полковнику N с поручением брата. Я перешел в свою комнату, отдернул портьеру, чуть приоткрыл ставень. На улице все было тихо. Я прошел в умывальную комнату, по дороге увидел денщика, хлопотавшего над самоваром. Я велел ему не спешить с самоваром, так как брат вечером уехал на охоту, а я пойду известить об этом полковника N.

Очевидно, внезапные отъезды на охоту были в привычках брата, ибо денщик мой ничуть не удивился. Он предложил мне сбегать самому к полковнику N, но я отклонил его предложение, сказав, что хочу прогуляться сам. Он растолковал мне ближайший путь садами, и через четверть часа, приведя себя в полный порядок, я вышел через сад на другую улицу. Я шел быстро, было жарко. День был праздничный, и, проходя мимо базара, я шел среди оживленной, густой толпы. Я старался ни о чем не думать, кроме ближайшей задачи: оповестить N, и даже страсть к наблюдениям заснула во мне.

– Здравствуйте, – вдруг услышал я за собою. – Вот как! Вас интересует базар? Я уже минут пять бегу за вами и едва догнал. Очевидно, вы что-то высмотрели и хотите купить? – передо мной, весело улыбаясь, стоял полковник N.

– Да я к вам спешу, – обрадовался я. – Брат просил передать, что он не дождался вас и с подвернувшейся оказией уехал вперед на охоту.

И я подробно передал все порученное мне в записке насчет встречи, ружья и дробы.

– Вот хорошо-то! – весело воскликнул полковник. – А ко мне приехал племянник, страстный охотник; и просит, молит взять его с собой. Места не было бы, если бы я ехал с вашим братом. А теперь я могу его взять. Только выеду не сегодня, а завтра на рассвете.

Разговаривая, мы пересекли базарную площадь, в конце ее, у развалин старой мечети, собралась порядочная кучка восточного народа, среди которого я заметил несколько желтых халатов и остроконечных шапок с лисьими хвостами монашеского ордена дервишей.

– Да, должно быть здорово обозлены эти желтые на Али Мохаммеда, – сказал полковник.

– Почему? – спросил я. – Что им сделал Али Мохаммед?

– Да разве вы не слышали, что против него собираются поднять религиозное движение? И в эту ночь вот эти желтые дервиши, конечно, сами учинили огромную пакость Али. Вы ничего не слышали? – продолжал спрашивать полковник.

Я внутренне вздрогнул, но спокойно пожал плечами и сказал:

– Что же я мог слышать, если почти единственный мой знакомый здесь вы, и вижу я вас только сейчас; а брат мой уехал вчера вечером.

На это полковник кивнул головой и рассказал мне, что в эту ночь у Али Мохаммеда должно было состояться ритуальное похищение невесты, его племянницы. Что это – часть обряда, заранее обусловленная; что жених едет похищать невесту с толпой своих товарищей, со стрельбой из ружей и прочей инсценировкой дерзновенного похищения; а на самом деле невесту они находят в определенном месте, выведенную из дома старухами, хватают ее и мчат во весь опор на хороших конях, стреляя в воздух, в дом жениха.

Мне вспомнились выстрелы и шум телег ночью; и я недоумевал, чем же это разрешилось, кого же увезли вместо Наль. Видя, что я молчу, полковник счел, что его рассказ меня не занимает.

– Конечно, вам, столичному человеку, не интересны наши дела. Но живя здесь, видя тьму, в которой обретаются люди, зажатые муллой, поневоле сострадаешь этому чудесному мягкому народу и горячо к сердцу принимаешь борьбу такого прекрасного человека, как Али Мохаммед, с религиозным фанатизмом. Это истинный слуга народа.

Я поспешил заверить полковника, что более чем интересуюсь его рассказом, и что рассеянность моя относится к необычной для меня внешней красочности жизни, которой я никогда раньше не видел.

– Да, так вот я и говорю, что они подстроили – вот эти, – кивнул он головой на желтые халаты монахов, – самую пакостную историю бедному Али. Они похитили его племянницу, упрятали ее куда-то, а его обвиняют в том, что он устроил ее побег с помощью какого-то важного хромого старика-купца, которого здесь никто не знает. Словом, факт тот, что ночью во время пира жених и его друзья похитили Наль; а когда примчались домой, то в повозке нашли розовый халат, драгоценное покрывало да пару крошечных туфель невесты, а самой невесты

и след простыл. Оскандаленный жених примчался назад к Али. Весь дом уже спал глубоким сном. Еле добудились Али, послали на женскую половину за старухами. Когда старухам сказали, что невеста сбежала, тетка Наль чуть глаза не выцарапала жениху. Пришлось самому Али унимать старую ведьму. Но, разумеется, они девушку упрятали в надежное место, чтобы оскорбить Али и объявить против него религиозный поход. Это очень хорошо, что ваш брат вчера вечером уехал. Все, кто был в добрых отношениях с Али, могут оказаться в опасности, так как религиозный поход – это благовидный предлог для сведения личных счетов и убийства всех неугодных почему-либо людей.

Я молча шел рядом с полковником, погруженный в невеселые думы о брате и Наль, обоих Али и обо всех грозящих им бедах. Только теперь я сообразил, как велика опасность. Не раз вспоминал я смертельную бледность молодого Али, его муки ревности и подавленное бешенство. Чью сторону примет юноша? Не видел ли кто, куда подевался хромой старик с пира?

Мы подходили к дому полковника, он звал меня радушно к себе, но я отговорился головной болью и поспешил домой.

Глава 3

Лорд Бенедикт и поездка на дачу Али

Я ясно помнил, что красавец-гигант обещал навестить меня днем. Когда я подходил к дому, то увидел денщика, разговаривающего с каким-то разносчиком дынь у калитки сада.

Мне все казалось теперь подозрительным. Я мельком взглянул на дыни и торговца и молча прошел в сад.

Денщик захлопнул калитку и подбежал с двумя дынями к столу под деревом, где мы с братом обычно пили чай. Положив дыни, он принес самовар, хлеб, масло, сыр и выжидательно остановился у стола. По всему его поведению было видно, что он хочет что-то мне сказать.

– Налей-ка чаю, – сказал я ему, – дыни ты, кажется, купил хорошие.

– Так точно, – ответил он. – Изволили слышать? У нашего соседа скандал приключился. Ночью стекла побили... драка была и стрельба.

– Да разве ты слышал? Я не так крепко сплю, как ты, да и то ничего не слышал, – возразил я ему.

– Так точно, я не слышал сам. Вот торговец мне сказал, да все спрашивал, где мой барин, был ли ночью дома? Я сказал, на охоту уехавши еще с вечера. И он все допытывал, когда, мол, уехал, да куда. Я сказал, часов в пять уехал, как всегда к Ибрагиму.

В эту минуту послышался довольно сильный стук в парадную дверь. Денщик не пошел в дом, а открыл калитку сада, рядом с дверью. Я двинулся вслед за ним, подумав, что надо бы взять на всякий случай револьвер. Калитка открылась, и в ней обрисовалась громадная фигура, в которой я сразу узнал своего вчерашнего покровителя.

– Простите, я постучал довольно сильно и, вероятно, встревожил этим вас. Но на два звонка мне никто не открыл. Я и решился прибегнуть к стуку, – сказал он на довольно чистом русском языке.

При ярком свете утра красота моего гостя еще больше поразила меня. Правильные черты лица, безукоризненные зубы, маленькие уши и большие миндалевидные, совершенно изумрудно-зеленые глаза, – все, при сияющем солнце, было обворожительно. Мой взгляд, полный восхищения, был прикован к нему, к этой обаятельной, такой мужественной и вместе с тем молодой мягкой красоте. Я пригласил моего гостя разделить со мной утренний чай. Он улыбнулся и ответил:

– Мое утро давно уже миновало. Мы, восточные люди, привыкли вставать рано. Я уже и забыл, когда завтракал; но если позволите, с удовольствием разделю вашу трапезу, съем кусочек дыни. Обычай моей родной страны учит, что только в доме врага не едят, а я ваш преданный друг.

– Вот как, – воскликнул я. – До сих пор я думал, что это обычай старой Италии. Теперь буду знать, что это и восточное поверье.

– Я и есть итальянец, и родина моя – Флоренция. Вы не думайте, что все итальянцы – смуглые брюнеты. В Венеции женщины даже полагали неприличным иметь черные волосы и красили их в золотистый цвет, что заставляло их немало трудиться, – говорил он смеясь. – Но мои волосы не поддельные, мне не приходится волноваться.

– Да, – сказал я. – Вы так дивно сложены, что рост ваш поражает только тогда, когда видишь рядом с вами обычного человека, который сразу кажется малышом, – сказал я, подавая ему тарелку, нож и вилку для дыни. – Вы простите меня, что я так невежлив и не свожу с вас глаз. В глаза Али Мохаммеда я не в силах смотреть; они меня точно прожигают. Вы же не подавляете, но привлекаете к себе словно магнит. Я хотел бы век быть подле вас и трудиться с вами в каком-то общем деле, – вырвалось у меня восторженно, по-детски.

Он весело засмеялся, стал есть дыню своими прекрасными руками, попросив разрешения обойтись без ножа и вилки.

Только сейчас я увидел, вернее, сообразил, что мой гость одет не по-восточному, как ночью, а в обычный европейский костюм песочного цвета из материи вроде чесучи. Должно быть, моя физиономия отразила мое изумление, так как он мне весело подмигнул и сказал тихо:

– И вида никому не показывайте, что вы меня видели в иной одежде. Ведь и вы сами были в чалме со змеей, хромы, глухи и немые. Разве я не мог, так же как и вы, переодеться для пира?

Я расхохотался. Хотя можно было совершенно спокойно принять моего гостя за англичанина, но... увидев его однажды в чалме и одежде Востока, я не мог уже расстаться с убеждением, что он не европеец.

Точно угадывая мои мысли, он снова сказал:

– Уверю вас, что я флорентиец. Хотя и очень, очень долго жил на Востоке.

Я снова расхохотался. Желание гостя подурочить меня было так явно! Эта цветущая красота, – ему не могло быть больше двадцати шести-семи лет.

– Скольких же лет вы уехали из Флоренции, если так давно, давно живете на Востоке? – сказал я. – Ведь вы не многим старше меня. Хотя весь ваш облик и внушает какую-то почтительность, невзирая на вашу молодость. Вчера вы мне показались гораздо старше, а европейский костюм и прическа выдали вас с головой.

– Да, – многозначительно ответил он, глядя на меня с юмором. – Ваш европейский костюм и прическа тоже окончательно выдали вашу молодость.

Я закатился таким смехом, что даже пес залаял. А гость мой, кончив есть дыню, обмыл руки в струе фонтана и, не переставая улыбаться, предложил мне пройти в комнаты для небольшого, но несколько интимного разговора. Я допил свой чай, и мы прошли к брату.

Мой гость быстро оглядел комнату и, указав мне на пепел в камине, сказал:

– Это нехорошо, отчего же ваш слуга так плохо убирает? В камине какие-то обрывки исписанной бумаги.

Я взял со стола старую газету, подsunул ее под оставшиеся в камине клочки бумаги и снова поджег.

– Я вижу, вы все тщательно убрали, – продолжал он, осматриваясь по сторонам. – Кстати, откололи ли вы броши с чалмы своей и брата?

– Нет, – сказал я. – В письме брата ничего не было сказано об этом. Я их вместе с чалмами и запер в шкафу. Вернее, похоронил, так как теперь уже не сумею поднять стену, – улыбнулся я.

– Этому делу помочь просто, – возразил мой гость.

Тут вошел денщик и спросил разрешения пойти на базар. Я дал ему денег и велел купить самых лучших фруктов. Когда он ушел, закрыв за собой дверь черного хода, мы прошли с гостем в гардеробную брата.

– Вы и дверь не закрыли на ключ? – сказал он мне. – А если бы ваш денщик полюбопытствовал заглянуть в гардеробную?

Он покачал головой, а я еще раз понял, насколько же я рассеянный.

Я зажег свет, гость мой наклонился и указал на стенке в том же ряду, где я отсчитывал девятый цветок снизу, на четвертом цветке такую же, еле заметную кнопочку. Нажав ее, он выпрямился и остановился в спокойном ожидании.

Как и в тот раз, лишь через несколько минут послышался легкий шорох, между полом и стенкой образовалась щель. Движение стенки все ускорялось, и наконец она вся ушла в потолок.

Я отпер дверцы шкафа и достал чалмы, непочтительно валявшиеся на дне его. Мой гость ловко отстегнул обе булавки, мгновенно сам нашел футляры, уложил в них броши и спрятал

футляры в свой карман. Потом вынул флакон с жидкостью, который я поставил сюда вчера, и тоже положил его в карман.

– А в туалетном столе вашего брата вы не разбирали вещи? – спросил он меня.

– Нет, – отвечал я. – Я туда не заглядывал, в письме об этом ничего не сказано.

– Давайте-ка посмотрим, нет ли и там чего-либо ценного, что могло бы пригодиться вашему брату или вам впоследствии.

Разговаривая, мы вернулись в комнату. Мысли вихрем носились в моей голове, – почему надо искать ценности? Почему может что-то пригодиться «впоследствии»? Разве брат мой не вернется сюда? И что же будет со мною, если он не вернется? Все эти вопросы точно пылали в моем мозгу, но ни на один из них я не мог себе ответить.

Мне было чудно, что человек, вместе со мной роющийся в ящиках, мне совершенно чужой; а все же полная уверенность в его чести и доброжелательности, сознание, что он делает именно то, что нужно, и так, как нужно, не нарушались во мне ни на минуту.

Из ящиков гость вынул несколько флаконов, и мы разместили их по своим карманам. Среди всяких коробочек он нашел плоский серебряный футляр с эмалевым павлином. Распущенный хвост павлина сверкал драгоценными камнями. Это было чудо художественной ювелирной работы. Тут же висел крошечный золотой ключик на тонкой золотой цепочке.

– Ваш брат второпях забыл эту чудесную вещь, которую он получил в подарок и которой очень дорожит. Возьмите ее, и если жизнь будет милостива ко всем нам, – когда-нибудь вы передадите ее брату, – проговорил мой чудесный гость, подавая мне футляр с ключиком.

При этом он нежно, ласково коснулся обеими руками моих рук. И такая любовь светилась в его прекрасных глазах, что в мое взбудораженное воображение и взволнованное сердце пришло спокойствие. Я почувствовал уверенность, что все будет хорошо, что я не один, у меня есть друг.

Мог ли я тогда предполагать, сколько страданий мне придется пережить? Сколько несчастий свалится на мою бедную голову! И каким созревшим и закаленным человеком стану я через три года, пока не увижу брата и пока в жизни его и моей действительно все наладится.

Я спрятал в боковой карман заветный футляр, но потом, рассмотрев его ближе, понял, что это записная книжка, запиравшаяся на ключ.

Захватив еще кое-что, что казалось необходимым моему гостю, мы заперли ящики, отнесли все в гардеробную, плотно задвинули створки шкафа; и тогда я снова нажал кнопку девятого цветка. Вскоре стенка опустилась, мы закрыли дверь гардеробной на ключ и вышли снова в сад.

Здесь гость мой сказал, чтобы я рекомендовал его всем, кто бы нас ни встретил, как своего петербургского друга и то же сообщил о нем денщику. Затем он передал мне приглашение Али провести сегодня день в его загородном доме, куда он уехал с племянником рано утром. Он ни словом не обмолвился о происшествиях минувшей ночи, а я не мог побороть какой-то застенчивости и потому не спрашивал его ни о чем.

Я так был рад не разлучаться с моим новым другом, что охотно согласился поехать к Али. Мы ждали в саду денщика, и обаяние моего гостя все сильнее привязывало меня к нему. Тоска в сердце и мучительные мысли о брате как-то становились тише рядом с ним. Спустя часа полтора вернулся денщик. Я сказал ему, что поеду за город с моим петербургским товарищем. А сам товарищ прибавил, что, быть может, мы не вернемся раньше завтрашнего утра, пусть он не тревожится о нас. Денщик плутовато усмехнулся и ответил свое всегдашнее: «Так точно».

Мы вышли через калитку внутри сада, прошли немного по тихой, тонувшей в зелени и пыли улице и свернули в тупичок, кончавшийся большим тенистым садом. Я шел за моим новым другом, и вдруг мне показалось странным, что я знаком с этим человеком чуть ли не целые сутки, так много пережил личного с ним и подле него – и даже не знаю, как его зовут.

– Послушайте, друг, – сказал я. – Вы велели рекомендовать вас всем как моего близкого петербургского друга. А я не знаю даже, как мне самому вас звать, а не то что представлять кому-то.

Он улыбнулся, взял меня под руку, – хотя я подумал, что ему было бы удобнее положить мне руку на плечо, таким невысоким я был по сравнению с ним, – и тихо сказал мне по-английски:

– Это ничего не значит. Ваши знакомые будут думать, что я и в самом деле английский лорд. А так как лордов они никогда не видели, то мне будет легко играть эту роль. Кстати, у меня есть и монокль, которым я отлично манипулирую.

Он вставил в левый глаз монокль, поджал как-то смешно губы, разделил свою небольшую золотую бороду надвое, – и я прыснул со смеху, до того он был высокомерен, напыщен, а его прекрасное, умное лицо вдруг поглупело.

– Ну, вот видите, как весело, – процедил он сквозь зубы, – я могу изображать высокомерного тупицу не хуже, чем вы – хромого старичка. Представляйте меня лордом Бенедиктом, а сами зовите меня Флорентийцем, как зовут меня свои.

Мы вошли в сад и встретились там с двумя молодыми офицерами, товарищами брата. Они шли к нам и были очень разочарованы, что брат уехал на охоту; я познакомил их с моим петербургским другом, англичанином, лордом Бенедиктом. Лорд высокомерно оглядывал бедных мешковатых поручиков с высоты своего громадного роста. На обращенные к нему вопросы он мямлил сквозь зубы по-английски: «Не понимаю», несколько раз ловко сбросил и поймал бровью свой монокль, чем окончательно сразил тарашивших на него глаза армейцев, никогда не видавших живого лорда с моноклем и, наконец, быстро проговорил, что лошади нас ждут и я должен сказать им, что еду в гости за город к его дяде, тоже англичанину.

Мы простились, я еще сдерживал душивший меня смех, но когда услышал пущенное возмущенным тоном вдогонку: «Ну и барская харя!» – я уже не смог сдержаться, залился вовсю, и мне вторили два раскатистых баса. Но лорд Бенедикт, как истый англичанин, и бровью не повел – отчего мне было еще смешнее.

У ворот сада стояла отличная коляска в английской упряжке. Две поджарые, истинно английские лошади нервничали, и их с трудом сдерживал старый кучер во фраке, гетрах и башмаках светло-коричневого цвета, с английским кнутом в руке, точь-в-точь как на картинках модных журналов.

Я поглядел удивленно на моего лорда, он отвесил мне легкий элегантный поклон и предложил первому занять место в коляске. Я пожал плечами, сел, лорд быстро уселся рядом, сказал что-то кучеру, чего я не понял, и мы помчались.

Довольно скоро мы оказались за городом. Я еще не видел окрестностей. По обе стороны дороги тянулись виноградники, фруктовые сады, огромные баштаны¹ дынь и арбузов. Нам навстречу непрерывно ехали на ослах люди всех возрастов в чалмах. Нередко на одном осле устраивались сразу двое. Встречались и женщины, укутанные в черные паранджи с сетками, тоже иногда сидевшие вдвоем на одном осле. Все тонуло в пыли и было залито солнцем и зноем; казалось, конца не будет этому обильному плодородию, мимо которого мы катили.

Так ехали мы около часа. Наконец мы свернули с дороги налево и, проехав еще немного, очутились в степи. Картина сразу резко изменилась, точно мы попали в другое царство. Все буйство природы, вся зелень осталась позади, а впереди, – насколько мог охватить глаз, – тянулась пустынная степь с выжженной травой. Меня укачали ритмичный бег лошадей, мягкое покачивание эластичных рессор и мельканье нагретого воздуха, и я незаметно для себя задремал.

– Мы скоро приедем, – сказал мне мой спутник по-русски.

¹ Баштан – то же, что и бахча. – Прим. ред.

Я восторженно посмотрел на него и... обмер. Передо мной сидел в чалме и белой одежде мой ночной покровитель.

– Когда же вы успели переодеться? – почти в раздражении воскликнул я.

Он весело рассмеялся, приподнял обитую бархатом скамеечку, и я увидел ящик, в котором лежали халат и тюрбан, в виде уже намотанной чалмы.

– Я оделся, как требует долг восточной вежливости, – сказал мой спутник. – Ведь если мы приедем в европейском платье – Али должен будет подарить нам по халату. Я думаю, вам не очень хотелось бы сейчас принимать подарок от кого-либо, а это халат вашего брата.

– Мне не только был бы несносен восточный подарок, но и вообще я потерял, и думаю, навсегда, вкус к восточному костюму после маскарада и чудес прошлой ночи, – не совсем мягко и вежливо ответил я.

– Бедный мальчик, – сказал Флорентиец и ласково погладил меня по плечу. – Но, видишь ли, друг Левушка, иногда человеку суждено созреть сразу. Мужайся. Вглядишься в свое сердце, чей образ живет там? Будь верен брату-отцу, как он был верен всю жизнь тебе, брату-сыну.

Слова его заделали самую глубокую из моих ран, привязанностей и скорбей. Острую тоску разлуки с братом я снова пережил так сильно, что не смог удержать слез, я точно захлебнулся своим горем.

«Я ведь решил быть помощником брату, – подумал я, – зачем же я думаю о себе. Пойду до конца. Начал маскарад – значит, надо продолжать. Ведь это брат хотел, чтобы я нарядился восточным человеком. Будь по его желанию».

Я проглотил слезы, вынул тюрбан, надел его на голову и облачился в пестрый халат поверх своего студенческого кителя. Вдали уже были видны дом, сад, и по обе стороны дороги начинался виноградник. Гроздья винограда зрели и наливались соком, краснея и желтея на солнце.

– Теперь недолго страдать и мучиться в догадках, – сказал Флорентиец. – Али все расскажет тебе, друг, и ты поймешь всю серьезность и опасность создавшегося положения.

Я молча кивнул головой, мне казалось, я достаточно уже все понимал. На сердце у меня было так тяжело, как будто, выехав за город, я перевернул какую-то легкую и радостную страницу своей жизни и ступил в новую полосу гроз и бед.

Мы въехали в ворота, к дому вела длинная аллея гигантских тополей. Как только экипаж остановился и мы оказались в довольно большой передней, к нам быстрой, легкой походкой вышел Али Мохаммед. В белой чалме, в тонкой льняной одежде, застегнутой у горла и падавшей широкими складками до пола, он показался мне не таким худым и гораздо моложавее. Смуглое лицо улыбалось, жгучие глаза смотрели с отеческой добротой. Он шел, издали протянув мне обе руки. Поддавшись первому впечатлению, измученный беспокойством, я бросился к нему, как будто бы мне было не 20, а 10 лет. Я прильнул к нему с детским доверием, забыв, что надо мужаться перед малознакомым человеком, скрывать свои чувства. Все условные границы были стерты между нами. Мое сердце прильнуло к его сердцу, и я всем своим существом почувствовал, что нахожусь в доме друга, что отныне у меня есть еще один друг и родной дом.

Али обнял меня, прижал к себе и ласково сказал:

– Пусть мой дом принесет тебе мир и помощь. Войди в него не как гость, а как сын, брат и друг.

С этими словами он поцеловал меня в лоб, еще раз обнял и повернул меня к Али-младшему, стоявшему сзади.

Я помнил, как страдал этот человек, когда Наль отдала моему брату цветок и кольцо. Мог ли я ждать чего-либо, кроме ненависти, от него, ревновавшего свою двоюродную сестру к европейцу?

Но Али-младшей, так же как и его дядя, приветливо протянул мне обе руки. Глаза его смотрели прямо и честно мне в глаза; и ничего, кроме доброжелательства, я в них не прочел.

– Пойдем, брат, я проведу тебя в твою комнату. Там ты сможешь принять ванну, надеть свежее белье и одежду. Если пожелаешь, переоденься, но прости, европейской одежды у нас здесь нет. Я приготовил тебе наше легкое индусское одеяние. Если ты пожелаешь остаться в своем, слуга тебе его вычистит, пока ты будешь купаться.

С этими словами он провел меня по довольно большому дому и ввел в прелестную комнату, с выходящими в сад окнами, под которыми росло много цветов.

– Через двадцать минут ударит гонг к обеду, и я зайду за тобой. А за этой дверью ванная комната, – прибавил он.

Он ушел, а я с наслаждением сбросил свой студенческий китель, которым так гордился, открыл дверь в ванную и, увидев, что ванна полна теплой воды, с восторгом стал в ней плескаться. Наконец, набросив мягкий купальный халат, вернулся в комнату. Не успел я еще вытереться хорошенько, как постучали в дверь. Это был слуга, принесший мне какой-то прохладительный напиток. Я выпил его залпом и почувствовал себя верблюдом в пустыне, так была велика моя жажда, которой я не замечал, пока не начал пить.

Я пробовал говорить со слугой на всех языках, но он не понимал меня, отрицательно качая головой, печально разводя руками. Вдруг он заулыбался во весь рот, что-то бормоча, закивал утвердительно головой и побежал к шкафу, вытащил оттуда белье и белую одежду. Очевидно, он подумал, что я спрашиваю его именно об этом. Я хотел остаться в своем кителе, но у слуги был такой радостный вид, он был так счастлив, думая, что понял, чего мне было надо, что мне не захотелось его огорчать. Я весело рассмеялся, похлопал его по плечу и сказал:

– Да, да, ты угадал.

Он ответил на мой смех еще более радостными кивками и повторил, как бы желая запомнить:



**ВСЯ ЖИЗНЬ – РЯД ЧЕРНЫХ И РОЗОВЫХ ЖЕМЧУЖИН.
И ПЛОХ ТОТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ УМЕЕТ
НОСИТЬ В СПОКОЙСТВИИ, МУЖЕСТВЕ И ВЕРНОСТИ
СВОЕГО ОЖЕРЕЛЬЯ ЖИЗНИ. НЕТ ЛЮДЕЙ,
ЧЬЕ ОЖЕРЕЛЬЕ ЖИЗНИ БЫЛО БЫ СОТКАНО
ИЗ ОДНИХ ТОЛЬКО РОЗОВЫХ ЖЕМЧУЖИН**



– Да, да, ты угадал.

Речь его была так смешна, что я по-мальчишески залился смехом и вдруг услышал звук гонга.

– Батюшки, – закричал я, как будто мой слуга мог меня понимать, – да ведь я опоздаю.

Но мой слуга понял все отлично. Он быстро подал мне трусы и брюки из белого шелка, длинную рубашку, белый шелковый нижний халат и еще одну белую одежду, легкую льняную, вроде той, в которую был одет Али Мохаммед. Не успел я залезть во все это, как раздался стук в дверь и на мой ответ «войдите» появился Али-молодой.

– Ты уже готов, брат, – сказал он. – А я принес тебе чалму; подумал, что твоя остриженная голова может сгореть под солнцем без нее.

– Да я не сумею ее надеть, – ответил я.

– Ну, это один момент. Присядь, я тебе сверну тюрбан.

И действительно, гораздо ловчее, чем это делал брат, он обернул мне голову чалмой. Мне было удобно и легко. На голые ноги я надел белые полотняные туфли без каблука, и мы двинулись с Али Махмудом обедать.

Мы вышли в сад, и в тени необычайно громадного каштана я увидел круглый стол, за которым уже сидели старший Али и Флорентиец. Я извинился за свое опоздание, но хозяин, указав мне место рядом с собой, приветливо улыбнулся и ласково сказал:

– Мы не придерживаемся строгого этикета, когда живем за городом. Если тебе вздумается вообще не выйти к какой-нибудь трапезе, чувствуй себя совершенно свободным и поступай только так, как тебе легче, проще и удобнее. Я буду очень рад, если ты погостишь здесь, отдохнешь и наберешься сил для дальнейших трудов. Но если жизнь рассудит иначе, – прими в моем доме всю любовь и помощь и помни обо мне, как о преданном тебе навеки друге.

Я поблагодарил, занял указанное мне место и посмотрел на Флорентийца. Он тоже переоделся в белое индусское платье. Снова я поразился этой юной цветущей красоте, в которой, казалось, не было ни одной складки страдания или беспокойства, но было разлито полное счастье жизни. Он тоже поглядел на меня, улыбнулся, вдруг поджал губы, сделал движение левой бровью и веком, и я увидел глупое лицо лорда Бенедикта. Я залился своим мальчишеским смехом, рассмеялись и оба Али.

Стол был сервирован прекрасно, но без всякого шика. Меню было европейское, но ни мяса, ни рыбы, ни вина не было. Я был голоден и ел с удовольствием и суп, и зелень, как-то особенно приготовленную, с превкусными гренками; отдал дань и чудесным фруктам. Я так был занят едой, так отдыхал от всего пережитого, что даже мало наблюдал моих сотрапезников. Подали в чашах прохладительное питье; но оно нисколько не было похоже на содержимое той чаши, что мне подал на пиру Флорентиец. Обед кончился, как и начался, без особых разговоров. Старшие говорили тихо на незнакомом мне языке, Али же молодой рассказывал мне о названиях и свойствах цветов, стоявших в овальной фарфоровой китайской вазе посреди стола. Многих цветов я совсем не знал, некоторые видел только на рисунках, но восхищался всеми. Али обещал мне после обеда показать в оранжерее дяди редкостные экземпляры экзотических цветов, обладавших будто бы замечательными свойствами.

Хотя я ел с хорошим аппетитом, я все же заметил, что Али-молодой ел мало и, казалось, только из вежливости, чтобы я не выделялся среди всех своим аппетитом, но все же отведал все подававшиеся блюда. Но сколько я ни смотрел на Али-старшего, я ничего, кроме фруктов, меда и чего-то похожего на молоко, в его руках не видел. Незаметно обед кончился. С самого начала меня несказанно удивила перемена, произошедшая в молодом индусе. Сейчас она казалась мне еще более разительной. Выражения нетронутой безмятежной юности, ранее бывшего на его лице, как не бывало. Он, должно быть, пережил такое глубокое страдание, что его психика словно сделала скачок в другой мир. И я невольно сравнил наши судьбы и подумал, что ведь и я перешел черту безмятежного детства и занавес над ним опустился. Начиналась другая жизнь...

Все время, с того самого момента, как Али Мохаммед обнял меня, я хотел спросить его о брате, – и все вопрос застыл на моих устах, я не мог решиться задать его. Теперь снова острая тоска по брату резанула меня по сердцу, и я с мольбой взглянул на моего хозяина. Точно поняв мой безмолвный вопрос, Али встал, встали и мы все и поблагодарили его за обед. Он пожал всем руки и, задержав мою в своей руке, сказал:

– Не хочешь ли, друг, пройтись со мной к озеру. Оно недалеко, в конце парка.

Я обрадовался возможности поговорить наконец с Али Мохаммедом, и все мы двинулись в глубь сада. Мы с Али-старшим шли впереди. Сначала я слышал за собой шаги Флорентийца и молодого Али. Но вот мы свернули в густую платановую аллею, и нас окружила никем, кроме птиц и цикад, не нарушаемая тишина. В этой части парка уже не было цветов, но дере-

вья попадались не только необычайно развесистые и с колоссально толстыми стволами, но и с необыкновенной окраской листьев и цветов. Особенно привлекли мое внимание клены с черными листьями и розовые магнолии. Дивные большие цветы, бледно-розового цвета, покрывали магнолии так густо, что они казались гигантскими розовыми яйцами. Аромат был силен, но нежен. Я невольно остановился, вдохнул всеми легкими душистый воздух и, забыв все раздирающие меня мысли, воскликнул:

– О, как прекрасна, как дивно прекрасна жизнь!

– Да, мой мальчик, – тихо сказал Али. – Обрати внимание на эти рядом живущие группы деревьев. Черные клены и розовые магнолии, – и все вместе, будучи таким ярким контрастом, живет в полной гармонии, не нарушая стройной симфонии Вселенной. Вся жизнь – ряд черных и розовых жемчужин. И плох тот человек, который не умеет носить в спокойствии, мужестве и верности своего ожерелья жизни. Нет людей, чье ожерелье жизни было бы соткано из одних только розовых жемчужин. Ты уже не мальчик. Настала и для тебя минута выявить твои честь, мужество, верность.

Мы двинулись дальше; вдаль сверкнуло озеро; мы еще раз свернули в аллею мощных кедров и подошли к беседке, устроенной из плачущего вяза. В ней было тенисто, с озера веяло прохладой. Безмятежность жизни, казалось, ничем не нарушалась здесь. Но слова Али подняли во мне бурю. Мысли мои кипели; я чувствовал, что услышу сейчас что-то роковое, но никак не мог привести себя в равновесие.

– Вчера ночью я спас две жизни, хотя тебе может казаться, что я обрек их на муки и угрозу смерти. Я давно тружусь, чтобы пробудить самосознание в этом народе, разбить стену фанатизма, пробить тропинку хотя бы к самой начальной культуре и цивилизации. Я открыл здесь несколько школ, отдельно для мальчиков и мужчин и для девочек и женщин, где бы они могли учиться грамоте на своем и русском языках и самым элементарным основам физики, математики, истории. Все мои начинания встречались и встречаются в штыки; и не только муллами, но и царским правительством. С обеих сторон я слышу революционером, неблагонадежным человеком. Я говорю тебе это для того, чтобы ты понял, в какое положение попал, и отдал себе точный отчет в своих дальнейших действиях и поступках. Я заранее тебя предупреждаю: на тебе не висят никакие обязательства, ты совершенно свободен в своем выборе и поведении. И что бы ты ни услышал от меня, – ты сам, добровольно, выберешь свой путь. Сам нанижешь в ожерелье матери-жизни ту жемчужину, цвет и величину которой создашь своим трудом и самоотверженной любовью. Если ты захочешь устранишься от борьбы за брата и Наль, – твой «лорд Бенедикт», – чуть улыбнулся Али, – отвезет тебя в Петербург, где ты будешь в совершенной безопасности. Если же верность твоя последует за верностью твоего брата, – ты сам определишь те помощь и роль, которые пожелаешь осуществить.

Наль воспитана мною. Только внешняя форма воспитания – на восточный манер – соблюдалась в ее жизни, и то весьма не строго. Наль хорошо образованна, и ее блестящие способности помогли ей узнать гораздо больше, чем знает любой окончивший европейский университет человек. Пять лет назад я уговорил твоего брата начать заниматься с Наль математикой, химией, физикой и языками, так как частые отлучки из города не позволяли мне самому регулярно заниматься с нею. Отсюда и происхождение тех восточных халатов и накладных бород и усов, которые вы спрятали сегодня с Флорентийцем в гардеробе твоего брата. Тупая матрона, старая мать Али Махмуда, когда-то спасенная мною от разорения и гибели, оказалась злой и неблагодарной. Она всячески препятствовала общению Наль с другими людьми. Только переодеваясь в другие халаты, мог твой брат проникать как учитель в разных гримах в рабочую комнату Наль. И старая, подслеповатая женщина была уверена, что впускает все разных учителей. Охраняя Наль во время уроков, она спала и так смешно храпела, что заставляла Наль иногда громко смеяться, но это не будило глухую матрону.

Я представил себе два прекрасных молодых существа, которые учатся под охраной полуслепого, полуглухого стража, вспомнил почему-то, как сам я разыгрывал роль: «Вы хромы, глухи и немые», – и закатился своим мальчишеским смехом.

Али погладил меня по плечу и продолжал:

– Время шло. Я понял давно, какое чувство возникло между Наль и твоим братом. Было бы бесполезно взывать к чести и мудрости твоего брата, он и без того был на высоте их. Я не мешал этому чувству, так как все равно не видел для Наль иного выхода, нежели побег из этого гнетущего места, и готовился к нему заранее. Старая дурища, тетка Наль, испортила весь мой план. Она завела за моей спиной интриги с муллой и дервишами. Довела дело до сговора о браке несчастной Наль с самым оголтелым и злым из всех религиозных фанатиков, каких я здесь знаю. И теперь готовится объявление религиозного похода против меня, ведь я не давал согласия на этот брак и покровительствовал христианам. Не буду утруждать тебя подробностями, – ты сам видел, что избежать сговора не удалось.

В тот миг, когда Флорентиец тебя вывел из сада, на женской половине тоже шел пир. Там все было подготовлено к законному похищению невесты. Роль невесты играл Али, мой племянник, пробравшийся в темноте в одежде Наль на женскую половину и успевший сесть на место невесты, пока продолжался беспорядок с освещением. Темнота немного дольше длилась на женской половине. Все совершилось честь честью. Невеста была выведена старухами в сад и там, переданная из рук в руки, «похищена» женихом. С выстрелами, шумом и гамом, как полагается по обряду для знатного купеческого дома, было совершено похищение. По дороге приключилась какая-то заминка с одной из лошадей. И пока все участники этого действия с факелами и ножами вместе с женихом поправляли упряжь, Али сбросил с себя халат, роскошные покрывала и оставил в повозке захваченные с собой туфельки Наль, сам же выпрыгнул бесшумно из телеги, – на что он большой мастер, – и, скрывшись во тьме, благополучно добрался до моего уже уснувшего дома, где мы его поджидали у калитки вместе с Флорентийцем.

Немало выстрадал Али. Ты не мог не заметить перемены, происшедшей в нем за одну ночь. Он обожал с детства сестренку, часто присутствовал вместе с ней на уроках у твоего брата. Наль – его второе «я»; и, пожалуй, это второе «я» ему дороже собственной жизни. Буря ревности, тяжелый покров предрассудков, мечты об особенной судьбе для Наль и себя, – все это окутывало Али и должно было или сгореть в нем или похоронить его под собою. Он никак не ожидал, что первым другом и покровителем в жизни Наль будет не он. Не верил, что я стану на сторону твоего брата и благословлю эту любовь, хотя чистой и прекрасной он признавал ее всегда. Уступить Наль другому мужчине, да еще европейцу, было для него непереносимо, как и позволить ей уйти в опасный путь без себя. Все произошедшее с ней сначала разбило его. Его спасла беспредельная верность мне, верность и любовь ребенка, потом юноши, от которого у меня не было тайн. Его истинная поглощающая любовь к Наль, заставившая забыть о себе и думать о ней, спасла не одну, а три жизни, которые были бы прерваны его рукой, если бы верность не победила все. В эту ночь он добровольно выбрал тропу жизни и надел на нить своего ожерелья черную жемчужину отречения, как листья черного клена, чтобы помочь жить женщине, так похожей на розовую магнолию...

Как я уже сказал, не сегодня завтра объявят религиозный поход против меня. Что это означает, я лучше не буду тебе объяснять. Когда, доехав до дома жениха, похитители невесты увидели, что в повозке лежит лишь одна одежда Наль, они мгновенно известили муллу и дервишей и, посоветовавшись с ними, вернулись в мой спавший дом целой толпой с омерзительными криками, оскорблениями и угрозами. Я молча стоял среди этой разъяренной толпы. И наконец, воспользовавшись минутой относительного затишья, велел слугам вызвать старух, которые должны были вывести Наль в сад в условленное место к жениху и его друзьям. Толпа ждала. Казалось, все вокруг было наэлектризовано токами бешенства. Шли минуты, походив-

шие на часы. Переполох в доме, конечно, давно разбудил всех на женской половине. Вскоре шесть старух во главе со старой теткой Наль появились перед толпой и встали рядом со мной.

– Эти люди, – сказал я им, – обвиняют вас в том, что вы не Наль вывели в сад, а одну ее одежду отдали жениху. И среди озверелых мужчин и сначала дрожавших от страха, но затем пришедших в бешенство женщин поднялся невообразимый вой. Обе стороны готовы были вцепиться друг в друга. Размахивая руками, вопя какие-то проклятия, старая тетка Наль утверждала, что сама вложила руку Наль в руку жениха. Остальные подтвердили, что видели, как жених взял Наль на руки, и даже заметили, что он был слабоват для того, чтобы нести ее. Я посмотрел на жениха, он потупился и сказал, что ему не приходилось носить на руках женщин и что, действительно, Наль показалась ему тяжелее, чем он предполагал. На мой вопрос, донес ли он ее и посадил ли в телегу, он указал на двух своих товарищей, людей большого роста и редкой силы, и сказал, что сам он едва смог донести Наль до калитки, а там ее взял один из его товарищей и донес до телеги; а в телегу ее осторожно положили его рослые друзья. Пришлось мне и их спросить, была ли то Наль или только ее одежда, которую они уложили в телегу. Оба утверждали, что несли невесту. Я стал уговаривать их разойтись, чтобы не привлекать к семейному скандалу внимание русских властей. Я читал смертельную ненависть в их глазах и нисколько не сомневался, что если бы не рассвело и они не боялись бы отвечать перед российским судом, – они бы прикончили на месте и меня, и Али, и многих из моих домочадцев и гостей. По местным понятиям, весь позор за этот скандал падал на жениха. Он злобно посмотрел на своих рослых товарищей, какое-то подозрение вдруг мелькнуло в его глазах и, грубо обругав их, он круто повернулся к ним спиной и быстро побежал к калитке. Остолбенев на миг, все его товарищи, мулла и толпа, пришедшая с ними, – все бросились бежать вслед за женихом, натываясь друг на друга, валя кого-то с ног, застревая в узкой калитке. За стеной сада слышалась перебранка жениха с товарищами и муллой, несколько выстрелов, крики. Но калитка захлопнулась, еще раз слышались крики, шум отъезжающей телеги, конский топот – и все смолкло.

Старухи были искренне убиты позором и несчастны. Они клялись и божились, что вечером во время пира Наль сидела с подругами за столом, что они сами накинули ей еще и черное покрывало поверх драгоценных уборов и наперебой рассказывали, как тяжело было жениху нести невесту, как он передал ношу товарищу и тому подобное. Я велел всем идти спать, сказав, что сам буду искать Наль, чтобы ни в дом, ни из дома в течение суток никто не входил и не выходил.

Сейчас я уже имею известие, что твой брат и Наль едут благополучно в скором поезде в Москву. Но это не значит, что они уже спасены. Пока они не доберутся до Петербурга и не сядут на пароход, отходящий с Невы в Лондон, – нельзя быть уверенным в их безопасности.

– Перейдем теперь к твоей роли, – продолжал Али Мохаммед после короткого раздумья. – Ты невольно запутан в эту историю, как брат Николая, поскольку злой глаз религиозных фанатиков видит врагов во всех друзьях того, против кого объявляют религиозный поход. А друг – это каждый, кто близок или хорошо знаком с настоящими друзьями преследуемого. К тому же дервиши решили, что Наль похитил незнакомый им хромой, глухой и немой старик, присутствовавший на пире, и этот след может привести к тебе, а уж к Флорентийцу непременно.

Ты, повторяю, свободен в своем решении. Ты можешь мне сейчас сказать, что желаешь остаться непричастным к этому делу, – и тогда ты немедленно уедешь в К., – Али назвал крупный торговый город, – с письмом к моему другу, у которого ты проживешь недели две-три и вернешься в Петербург. Если же ты хочешь помогать мне бороться за жизнь брата, – придется сказать свое решительное слово и начать действовать.

Так закончил Али свой разговор со мной.

Глава 4

Мое превращение в дервиша

В моем сердце стало как-то ясно и тихо. Я больше ни минуты не тревожился, и даже волнение за судьбу брата перестало меня беспокоить. Присутствие Али, его мощь влили в меня уверенность и энергию.

Чем больше я погружался мыслью в страшную рознь народов, чем ярче представлял себе невежество бедного, неграмотного и почти всегда голодного народа, который даже и религию выбрать себе самостоятельно не может, а попадает с рождения в лапы фанатиков, и который всю жизнь всем рабски повинует, тем яснее становилось мне, что я не могу остаться равнодушным к судьбе хотя и чуждого мне по крови, но, конечно, такого же народа, с красной кровью и страждущим сердцем, как и мой родной, зажатый царской лапой русский народ. И чем больше я думал, какой странной случайностью я оказался связанным сейчас с судьбою чужого народа, вторгшись в самую сердцевину его предрассудков, тем сильнее сознавал, что нет случайностей, а есть целая сеть закономерных действий. Что во всей окружающей нас жизни, как и в природе, нет явлений случайных, а царит гармония всегда закономерно и целесообразно действующих сил, связывающих всех людей воедино, как группы черных кленов и розовых магнолий.

Мое спокойствие не то что возрастало с каждой минутой, оно как бы утверждалось, черпая силу в самой глубине моего сердца, которое, казалось, я понял впервые. Видя мое молчание, Али прибавил:

– Не думай, что тебе надо дать ответ сию минуту. Хотя, конечно, временем мы не располагаем; я ожидаю самого быстрого хода событий.

– Мой ответ готов, – сказал я. – Я так глубоко спокоен, решение мое так ясно, что я еще ни разу за всю свою жизнь не припомню подобного чудесного и необычного состояния духа, подобного мира в себе. Я не только не колеблюсь, но мне даже не представляется возможным пойти другим путем, где бы я мог отделить себя от брата, от вас, от Флорентийца и всех ваших друзей. Ведь если бы мой брат был здесь, – он соединил бы свою жизнь с вашей и пошел бы за вами, хотя вы индус, и этот народ не является и для вас родным народом. Мое решение не нуждается в обдумывании. Я иду с вами, я верен моему брату-отцу и буду отстаивать всеми силами его жизнь и счастье так же, как и раскрепощение того народа, которому вы так беззаветно и самоотверженно служите.

– Твое спокойствие, друг, убеждает меня более всяких клятв и обещаний. Вернемся в дом, там могут быть какие-нибудь новые вести.

С этими словами Али Мохаммед встал, обнял меня и, положив руку мне на голову, заглянул глубоко в мои глаза своими агатовыми бездонными глазами. Трепет какого-то восторга охватил меня, я точно потерял сознание на миг и пришел в себя уже в кедровой аллее, по которой мы шли, любуясь сверканием озера на ярком солнце.

Аромат деревьев, пение птиц, треск цикад снова сопровождали нас. Никогда еще я не чувствовал себя так необычайно. Казалось, все внешние факторы должны были бы подавить мой дух. А на самом деле, впервые среди величавого молчания природы, в обществе этого человека, в котором я чувствовал необычные силу и чистоту, я понял какую-то иную, еще неведомую мне жизнь сердца. Я ощутил себя единицей этой беспредельной Вселенной, среди которой я жил и дышал; и мне казалось, что нет разницы между мною, солнцем, сверкающей водой и шумящими деревьями, что все мы отдельные ноты той симфонии Вселенной, о которой говорил Али. Я точно прозрел в какую-то глубь вещей, где все – революции, борьба отдельных людей, борьба страстей целых наций, войны и ужасы стихий, – все вело человечество к улучшениям, к завоеваниям в коллективном труде великих ценностей равенства и братства, к

той гармонии и красоте, где свобода какой-то новой жизни должна дать всем людям возможность отдавать все лучшее в себе на общее благо и получать то, что нужно каждому для его совершенствования и индивидуального счастья...

Я ушел в свои мысли, какая-то радость наполнила все мое существо, и я не заметил, как мы подошли к дому и встретились подле него с Али-молодым и Флорентийцем. Обменявшись малозначительными фразами по поводу красоты парка, мы вошли уже вчетвером в дом и уселись на открытой веранде у стола, который был накрыт для чаепития. Жара немного спала, нам подали чай в больших чайниках красивой расцветки и оригинального китайского рисунка. Только успели мы выпить по чашке чая, как вошел слуга и тихо сказал несколько слов хозяину. Тот извинился перед нами и вышел. Мы молча остались сидеть за столом. Каждый был погружен в свои думы, никого не стесняло это молчание. Все точно сосредоточилось в себе, готовясь, каждый по-своему, к грядущим событиям. Лично я, – как казалось мне, – точно и не жил до сегодняшнего дня. Только сейчас я ощутил свою связь со всеми людьми, знакомыми мне и незнакомыми, далекими и близкими, и оценивал жизнь по-новому, решая для себя вопрос, что значит свой или чужой и кто же свой, а кто чужой. По свойственной мне рассеянности мне показалось, что прошло очень мало времени; но на самом деле прошло около часа.

Вошел слуга и сказал Али-молодому, что хозяин просит всех пройти к нему в кабинет. Мы встали, Флорентиец обнял меня за плечи, ласково прижав к себе на минуту, и мы прошли на другую половину дома, которой я еще не видел.

Через ту же переднюю, в которую мы вошли с Флорентийцем, как только экипаж остановился у подъезда дома, мы попали в большую комнату – кабинет Али Мохаммеда. Мы увидели его за письменным столом, и у стола, в глубоком кресле, обитом ковровой тканью, сидел в желтом халате и в остроконечной шапке с лисьим хвостом дервиш. Сюрпризы последних суток, должно быть, так расшатали мои нервы, что я едва не вскрикнул от изумления и растерянности. Я всего ожидал. Но увидеть дервиша в кабинете Али, – этого мои нервы не вынесли; я почувствовал такое раздражение, что готов был броситься на него.

Али молодой, взглянув на меня и поняв по моему расстроенному лицу, что я переживал, шепнул мне:

– Не все, кто одет дервишем, – на самом деле дервиши. Это друг.

Я постарался взять себя в руки, стал пристально разглядывать мнимого дервиша. И еще раз устыдился своей невыдержанности, отсутствию такта и внимания. Если бы я начал с того, что посмотрел в лицо этого человека и сосредоточил бы свое внимание на нем, а не на себе, мне не из-за чего было бы раздражаться. То был юноша не старше сидевшего рядом со мною Али Махмуда.

У него были темные глаза, мягко, как звезды, сверкавшие из-под нахлобученной шапки, прелестный нос, продолговатый овал лица и загорелые и огрубевшие, но прекрасной формы руки. Вся его фигура, несмотря на нищенский халат, дышала благородством. Большой ум читался на его лице, так и хотелось сбросить эту тяжелую и противную шапку, чтобы увидеть лоб, должно быть лоб мыслителя.

Дервиш говорил на непонятном мне языке; и, к стыду своему, я даже не мог определить, что это за язык. Я знал, что мне расскажут, о чем шла речь, и отдался наблюдениям. Флорентиец сидел спиной к окну напротив молодого дервиша, на которого прямо падал свет. Хотя окно было занавешено легкой тканью цвета слоновой кости, света было совершенно достаточно, чтобы ни малейшее движение на лице незнакомца не ускользнуло от меня. Поистине, он тоже был красавцем. Выше среднего роста, широкий в плечах, он напоминал мне чем-то неуловимым моего брата. Лицо Али-старшего выражало такую серьезность, что мне снова вспомнились все грозящие брату беды, и снова острая боль пронзила сердце.

Незнакомец опять заговорил. Его голос, оригинальный, низкий баритональный, как бы металлический, мог бы составить честь любому оперному певцу. Он, очевидно, что-то пред-

лагал. Все молчали, точно обдумывая его предложение, и наконец Али-старший, взглянув на меня, сказал:

– Прости, друг. Ты не понимаешь нашего языка, я вкратце объясню тебе суть дела. Мулла и жених, якобы на основании свидетельских показаний моих гостей, мальчиков-прислужников и взрослых слуг, утверждают, что Наль была похищена тем гостем на пиру, которому я посылал блюда со своего стола. Они говорят, что это был важный старик, хромым и седой, который вышел из-за стола как раз в тот момент, когда была похищена Наль. Мулла объявил, что здесь замешано колдовство, и обвиняет в нем меня и моего старого гостя; его теперь повсюду ищут. Религиозный поход против меня уже объявлен. Две из построенных мною школ уже сравнивали с землей. И каждой женщине, у которой найдут книги, будет объявлено отлучение. А это хуже смерти в здешних глухих и диких местах. Далее молва утверждает, что кто-то видел, как мой гость спрятался в доме твоего брата. Надо полагать, что дикая орда набросится на дом; может быть, сожжет его, как и мой. Мне необходимо сейчас же поехать в город, чтобы спасти людей, оставшихся там, от верной гибели. Тебе же, вместе с Флорентийцем, следует отправиться на станцию железной дороги и постараться добраться до Петербурга, чтобы там помочь нашим беглецам. Я не сомневаюсь, что за всеми нами идет слежка. Царское правительство не вмешивается в религиозные погромы, не видит и не слышит их, пока ему это удобно. Ни тебе, ни твоему брату не уйти живыми, если вас где-либо обнаружат. Всем известна наша дружба, и если схватят тебя, – ты ответишь за всех. Этот друг предлагает тебе переодеться сейчас же в платье дервиша, а Флорентийцу – в обычное платье простого купца и уехать в вагоне третьего класса в Москву. По дороге сами уже будете соображать, как вам лучше спастись, я же буду посылать вам телеграммы до востребования на все узловые станции и оповещать о ходе событий. Не забывай, что тебе надо думать не о себе. Спасая свою жизнь, ты думай только о лишней паре рук и ног для защиты друга, брата-отца. Весь героизм сердца, вся сила мужества должны быть собраны, чтобы не выдать себя в опасные минуты ни одним растерянным взглядом или движением. Смотри прямо в глаза тем, кто тебе будет казаться подозрительным. Стань снова временно глухонемым и, со свойственным таким людям вниманием, смотри на рот говорящих. Это будет сбивать с толку преследователей. Времени остается мало. Али и новый друг помогут тебе переодеться, если ты захочешь принять это предложение. Я же передам Флорентийцу все нужное для вашего пути и условлюсь о телеграммах.

Он поднялся и вышел вместе с Флорентийцем, а Али молодой и новый знакомец стали облачать меня в платье дервиша, на что я согласился без колебаний. В довершение всех бед в дело снова пошла бесцветная жидкость. На этот раз уже все тело, смазанное ею, стало темным, а руки, ноги и лицо, покрытые слоем жидкости дважды, стали такими, словно их сожгло солнцем, как-то сморщились, и я стал выглядеть лет на 40. Но теперь я не вздыхал по своей исчезнувшей юности и утраченной белизне. Дело шло уже не о маскараде, а о жизни дорогого мне брата и моей собственной, и я старался запомнить характерные жесты и манеры, которые мне показывал мой новый друг, мнимый дервиш.

Едва я кончил одеваться, как вошел Флорентиец. Его узнать было невозможно: длинная черная борода, голубовато-серая чалма и пестрый ситцевый халат, подпоясанный платком, на ногах – мягкие черные сапоги. Он имел вид средней руки торговца, отправляющегося за товарами. Его лицо и безукоризненные руки не уступали в черноте моим, а ногти и зубы были отвратительно грязны. В прежнее время я бы покатился от хохота; но сейчас я принял все как должное, оценив его неузнаваемость.

– А шапку к голове вы ему приклеили? – спросил он. – Ведь может случиться, что кто-либо попытается сбить шапку с его головы.

Он достал из своего огромного кармана темную ермолку, натянул ее мне на голову так туго, что, казалось, сорвать ее можно только вместе с кожей, и поверх, смазав внутреннюю

сторону остроконечной шапки клейкой жидкостью, напаял и ее на мою несчастную голову. Я едва держался на ногах, так было жарко; голову сжимало, стало тошнить.

Вошел Али-старший и, очевидно, понял мое состояние. Он вынул из стола коробочку, открыл ее и положил мне в рот белую пилюлю. Остальные, закрыв коробку, передал Флорентийцу.

– Лошади ждут по другую сторону озера, вы поедете оттуда, – сказал Али, – времени едва хватит доехать до станции.

Мы двинулись кратчайшим путем к озеру вдвоем с Флорентийцем, простившись наскоро с обоими Али и новым знакомым. Подойдя к озеру, мы сели в лодку. Флорентиец быстро переправил ее на другую сторону, и через несколько минут мы увидели быстро приближающуюся к нам простую бричку. Ни словом не обменявшись с возницей, мы сели в нее и покатали по направлению к вокзалу.

Вокзал был в верстах трех от города, и мы, минуя город, выехали к нему совсем с другой стороны. В нашей бричке мы обнаружили два узла, связанных из ситцевых платков, и два убогих деревянных сундучка. Флорентиец вел себя так, как будто никогда ничего, кроме ситца, не носил и об элегантных чемоданах понятия не имел. Подъехав к вокзалу, мы соскочили с брички и очутились в густой толпе восточного люда, галдевшего и возбужденного. На нас не обратили никакого внимания, увидев простых, бедно одетых купца и монаха, а продолжали зорко вглядываться во всех подъезжающих, побогаче одетых.

К нам подошел старик и предложил помочь нести узлы. Флорентиец передал ему мой узел и сундучок, взял свой под мышку, узел в руку, точно это были пакеты с ватой, сказал что-то старику, и мы двинулись на вокзал. Там поджидал нас другой старик, он подал Флорентийцу два билета. Едва мы вышли на платформу, как подошел поезд. Мы разыскали наш вагон третьего класса и уселись на грязной скамье. На полу валялись кожура бананов и корки апельсин, огрызки дынь и арбузов, куски хлеба и обрывки бумаги.

Едва мы уселись, как на платформе поднялся шум, толпа, через которую мы прошли, ворвалась, галдя, на перрон. Размахивая руками, люди бросились мимо загораживавшего им путь жандарма к вагонам первого класса. Толпа лезла и в международный вагон, куда ее не пускали. Начальник станции, жандарм, проводники – все были в один миг разбросаны. Несколько человек все-таки пролезли в вагон, кого-то разыскивая, крича и перекликаясь.

Перепуганные, ничего не понимавшие немногочисленные пассажиры тоже подняли крик. Жандарм подавал тревожные свистки, и к нему на помощь уже летели со всех сторон носильщики, жандармы и группа вооруженных солдат. Толпа успела обшарить международный вагон, перебралась в первый класс; кое-кому удалось обежать и оба вагона второго класса. Но здесь их настиг жандармский офицер, зычным голосом выстроил солдат в строевой порядок, и восточная толпа мгновенно рассеялась, так и не успев добраться до вагона третьего класса. Убегая со всех ног, проскакивая через вагоны на запасных путях, люди скрылись, точно их не бывало. Впрочем, вероятно, их и не интересовали убогие вагоны; ища самого Али или кого-либо из близких ему, они не могли предположить, что искать следует в грязи и пыли третьего класса.

Поезд все еще стоял, хотя время отправления уже истекло. Я обливался потом и не раз вытирал свое лицо большим пестрым платком, данным мне дервишем, и именно тем жестом, которому он меня обучил. Хотя я и был совершенно уверен, что нас узнать невозможно, но не мог не заметить, что в глазах моего спутника мелькнуло внезапно какое-то беспокойство.

Я выглянул на перрон и увидел, что к старику, несшему наш багаж и теперь стоявшему в дверях вокзала, подошел мулла. Но как раз в эту минуту начальник станции махнул рукой, раздался оглушительный третий звонок, обер-кондуктор свистнул, в ответ раздался свисток паровоза и наконец мы двинулись.

Не успели мы отъехать, как в наш вагон с противоположной стороны перрона впрыгнул, как кошка, молодой сарт². Он часто и трудно дышал, очевидно очень быстро бежал. Войдя в вагон, он не сел, а шлепнулся рядом с нами. Я подумал, что он вот-вот упадет в обморок.

Поглядев на него, Флорентиец покачал головой и обратился к двум старым сартам, сидевшим в глубине вагона. Речи его я не понял, но один из стариков встал и подал запыхавшемуся сарту воды в кувшине из тыквы. Тот выпил ее жадно, но все не мог прийти в себя. Наконец он несколько поуспокоился и спросил Флорентийца, сидевшего с ним рядом и почти закрывавшего собою мою небольшую фигуру, не заметил ли он кого-либо, кто садился в поезд на этой станции.

– Как не заметить? Я сам садился, мой племянник садился, да ты садился, – ответил ему, смеясь, мой друг. – Нет, впрочем, ты не садился, ты прыгнул, – прибавил он, и в вагоне рассмеялись.

Молодой сарт уже совсем пришел в себя.

– От кого ты так убегал? Тебя преследуют царские власти? – спросил его Флорентиец.

– Нет, – ответил он, – я догонял поезд, чтобы передать одному нашему купцу письмо, очень для него важное. Мне сказали, что непременно он или его племянник едут в этом вагоне.

И он встал с места, обошел вагон, поблагодарил старика, давшего ему воды, и, поговорив с ним, опять вернулся к нам.

– Нет, – сказал он. – Здесь нет ни дяди, ни племянника, которых я ищу, а в вагонах первого класса нет ни их рыжего друга, ни хромого старика. Придется мне на повороте спрыгнуть и караулить следующий поезд. Флорентиец важно покачал головой, выказывая сочувствие к его неудавшейся миссии и желанию спрыгнуть с поезда на ходу. Молодой сарт объяснял Флорентийцу и столпившейся вокруг нас кучке любопытных, что купец, которого он искал, – его благодетель, и если кто-либо скажет ему, кто сел на этой станции в поезд, кроме нас с Флорентийцем, то он сам и богатый купец-благодетель отблагодарят его.

Один из стариков сказал, что видел, как в последний вагон сели две женщины и молодой человек. Лицо сарта зажглось, точно факел сверкнул и отразил свое пламя в его глазах; он растолкал окружавшую нас кучку пассажиров и стремглав бросился в соседний вагон.

Прошло минут двадцать, он снова возвратился к нам; довольно постное выражение его физиономии говорило без слов, чем завершились его поиски. Его вторичное появление никого уже не заинтересовало; кое-кто из пассажиров стал готовиться к выходу на ближайшей станции.

Сарт снова сел возле Флорентийца и стал шептать ему что-то на ухо, опасаясь, чтобы я не услышал его слов, но Флорентиец успокоил его, показав ему на мои уши. Все же раза два еще он взглянул на меня подозрительно, но заметив, что я пристально гляжу на его рот, отвернулся и успокоился. Подумав, что толку от моих наблюдений все равно мало, я решил тоже отвернуться и стал смотреть в окно.

Поезд шел быстро, очевидно машинист решил нагнать опоздание. Сколько мог охватить глаз – все шла безводная, голая степь. Ни деревца, ни кустика, ни жилья. Я невольно думал о трудной жизни народа, который выращивает чудесные фрукты, богатейшие виноградники и пышные цветы, искусственно орошая землю. Между тем поезд стал заметно замедлять ход. Мы огибали глубокий овраг, на дне которого сверкала маленькая струя воды. Очевидно, здесь снова начиналась сеть арыков, отчего вся местность резко изменилась. Замелькали сады кишлаков, стали попадаться гигантские фиговые, ореховые и каштановые деревья.

Поезд еще немного замедлил ход, и вдруг я увидел сарта: артистически рассчитав свой прыжок, он исчез в глубоком овраге. Надо сказать, исчез он вовремя. Не успел я повернуться к

² Сарты – общее название оседлого населения Средней Азии, существовавшее вплоть до 1917 века; полагают, что так называли в основном оседлых узбеков и таджиков. – *Прим. ред.*

Флорентийцу, как открылась дверь вагона и вошли два кондуктора, спрашивая билеты. Флорентиец подал наши билеты, сходявшие на следующей станции отдали свои, кондукторы прошли дальше, и я надеялся, что Флорентиец мне теперь расскажет, о чем шептал ему сарт. Но он незаметно приложил палец к губам и дал мне прочесть записку, которую держал в руках.

Это был текст телеграммы до востребования, написанной по-русски в город С. купцу К., с извещением, что купец А. живет, – дальше стояло многоточие. Я не понял, о чем эта записка в руках Флорентийца, хотя и сообразил, что дал ему ее выпрыгнувший из вагона сарт.

Через четверть часа мы остановились у следующей станции, но никто не сел в наш вагон. Флорентиец вынул из своего узла две книги, передал одну мне. Его книга была написана на арабском языке, а та, что оказалась у меня, напоминала толстый затрепанный молитвенник, и шрифт ее был так же мне понятен, как и страница того гигантского Корана, который показывал мне брат в одной из мечетей города.

Я улыбнулся и подивился тонкой наблюдательности того, кто собирал нас в путь. Какая же еще книга могла быть в руках у дервиша, как не потрепанный, издававший виды в бесконечных странствиях бездомного монаха, молитвенник. Какой-то богобоязненный старик принес мне дыню и кусок хлеба, другой протянул два куса сахара. Я еще раз мысленно поблагодарил человека, отдавшего мне свою одежду дервиша, за преподанный урок поведения, приличествующего монаху. Флорентиец объяснял всем, что я глух, но святой жизни, и мои молитвы хорошо доходят до Бога. Я же, опустив глаза долу, прикладывал руку к груди и несколько раз кивал головой, не глядя на тех, от кого получал подавание. Кое-кто, услышав, что я святой жизни и хорошо привечен Богом, давал мне даже деньги.

Так ехали мы до самого вечера, и снова сразу настала ночь. В вагоне все утихло. Флорентиец подложил мне под голову мой узел, оказавшийся мягким, заставил лечь, а сам сел у моих ног. Не знаю, долго ли я спал, но проснулся я от того, что кто-то сильно меня тряс. Я никак не мог проснуться, хотя сознавал, что меня будят. Наконец чьи-то сильные руки поставили меня на пол, и я почувствовал резкий запах нашатыря. Я чихнул и окончательно проснулся. Флорентиец стоял рядом со мною, оба сундучка наши были связаны и перекинуты через его плечо, один узел он держал под мышкой, тот, на котором я спал, он взял в руку, другой показал на дверь и подтолкнул меня к ней.

В вагоне было почти совсем темно. Кое-где свечи в фонарях уже догорали, да и висели фонари очень редко и высоко. Спросонья я плохо соображал, но двинулся к двери. Мне представилось, что мы будем прыгать, как сарт, с поезда, который, кстати сказать, мчался опять на всех парах; и я приходил в ужас от своего мешковатого платья, длинного, неудобного, стеснявшего мои движения. Ни с чем логически не связанная, вдруг мелькнула мысль, что и шапку-то мне приклеили к голове, чтобы она не свалилась во время прыжка.

Мы бесшумно вышли на площадку вагона, и я взялся за наружную дверь, чтобы ее открыть.

– Рано еще, – сказал мне тихо, в самое ухо, Флорентиец.

– Так мы на всем ходу и будем прыгать? – спросил я его так же тихо.

– Прыгать? Зачем прыгать? – сказал он смеясь. – Мы подъезжаем к большому городу, где живет мой друг. Сойдем на станции, возьмем извозчика и поедem к нему. Но пока я тебе не скажу, сохраняй полное внешнее безразличие дервиша и, кто бы ни обратился к тебе с вопросом, показывай на уши. Поезд замедляет ход. Сходи первым и подай мне руку. И ни на одну минуту не отходи от меня ни на станции, ни в доме моего друга, куда мы приедем. Так и держись, либо за мою руку, либо за пояс, как если бы ты был слепым и не мог передвигаться без моей помощи.

Поезд подходил к перрону скудно освещенной станции. Вокруг царилась ночь, и казалось, что на станции все замерло. Мелькнула красная фуражка дежурного, за нею рослая фигура жандарма, – и поезд остановился. Мы сошли с перрона, прошли через полупустой зал третьего

класса и вышли на крыльцо. Здесь к Флорентийцу подошел какой-то сарт и предложил довезти до ближайшего кишлака. Флорентиец объяснил ему, что нам нужно в город, в торговые ряды. Сарт обрадовался; ему было как раз по пути, и он думал, что ночью сможет сорвать с нас хороший куш. Не тут-то было. Флорентиец начал яростно торговаться, как истый восточный купец. Он так и сыпал горохом слова, закатывал глаза и разводил руками вместе с возницей. Оба они горланили минут десять, наконец сарт вздохнул, закатил глаза и воззвал к Аллаху. Только этого, казалось, и ждал Флорентиец. Сложив руки и также воззвав к Аллаху, он выдвинул меня вперед, и возница увидел перед собою дервиша. Он моментально утих, поклонился мне и позвал нас к стоявшей тут же телеге. Мы взгромоздились на нее и поехали в город, который был в двух верстах от станции.

Глава 5

Я в роли слуги-переводчика

Мы ехали, храня полное молчание. Возница пытался было задавать вопросы Флорентийцу, но получая односложные ответы, произнесенные сонным голосом, решил, что мы устали, должно быть, от долгого пути, и перенес свое внимание на лошадь. Лошадка трусила по мягкой дороге. Тьма освещалась только мерцающими звездами, и мысли мои, точно замерзшие во время моего тяжелого сна в вагоне, вновь зашевелились.

Мне еще не приходилось слушать молчание ночи в степи. Снова – как и в парке Али – меня охватило чувство преклонения перед величием природы. Я смотрел на усыпанное звездами небо и разглядел впервые многие созвездия, о которых до сих пор только читал или слышал. Звезды не походили на наши северные. Они казались гораздо крупнее, мерцая, точно лампы, и я наконец увидел воочию тот дрожащий свет звезд, о котором пишут поэты. Даже небо показалось мне более низким. Прорезанное широкой полосой Млечного Пути, оно сверкало контрастами полной тьмы и света.

Я вернулся мыслями к Али Мохаммеду. Опять меня пронзила радость от встречи с ним и мысль о красоте и гармонии природы, – я подумал о мощи любви и счастья, которыми щедро одаряет природа человека; о тех великих скорбях и слезах, которыми наполняет мир сам человек, неизменно оправдывая свои действия именем великого Творца; и будто бы в защиту Его отравляя мир жестокостью своего фанатизма.

Мерный стук копыт и покачивание тележки на мягкой дороге не усыпили меня; но внезапно среди ночи я почувствовал себя одиноким, несчастным и беспомощным... Но то было лишь мгновение слабости. Я вспомнил слова Али о том, что настало мое время выказать мужество и преданность. И волна бодрости, даже радости, опять поднялась во мне. Я захотел немедленно вступить в борьбу не только за жизнь и счастье любимого брата и Наль, но и за всех, страдающих по вине фанатиков, тех, кто считает свою религию единственной истиной, кто давит все живое, что рвется к свободе и знанию, к независимости в жизни... Я прикоснулся к Флорентийцу, благодарно принял к нему и встретил его добрый, ласковый взгляд, который, казалось, говорил мне: «Нет одиночества для тех, кто любит человека и хочет отдать свои силы борьбе за его счастье».

Мы уже въезжали в город. Окраины его напоминали сплошной сад, но и центр города оказался таким же. Ночь была уже не так темна, в кольце зеленых улиц вырисовывался гигантский силуэт мечети, показались торговые ряды. Флорентиец приказал вознице остановиться, мы сошли, рассчитались с ним и отправились вдоль рядов, кое-где охраняемых ночными сторожами. Два раза мы свернули в тихие спавшие улицы и наконец остановились у небольшого дома с садом. На стук Флорентийца не сразу открылась калитка, и дворник удивленно оглядел нас. Флорентиец спросил его по-русски, дома ли хозяин. Оказалось, хозяин только что вернулся домой и даже еще не ужинал, хотя сказал, что очень голоден.

Флорентиец попросил передать хозяину, что нас прислал лорд Бенедикт и мы просим принять нас, если можно, тотчас же. Монета, скользнувшая незаметно в руку дворника, сделала его намного любезнее. Он впустил нас в сад и побежал доложить о нас хозяину. Мы остались одни. Пока мы ожидали в темноте сада, Флорентиец осторожно просунул палец под мою ватную шапочку и ловко стащил ее с меня; почти мгновенно оторвав ее от дервишской шапки, он снова надел шапку мне на голову. То, что я почувствовал, когда освободился от ватного бинта на голове, не поддается описанию. Я хотел громко закричать от радости, но опасаясь выдать себя, промолчал, два раза все же подпрыгнув на месте.

– Какой там Лордиктов? Вечно все перепутаешь! – донесся до нас голос.

Я было подумал, что где-то уже слышал этот особенный голос, но не мог себе уяснить, где и когда.

– Помни же, ты все еще глух, пока не скажу, – шепнул Флорентиец.

Дворник вернулся и пригласил нас подняться на веранду. Мы пошли за ним и увидели, что на веранде горит свет. Но зелень – вся в крупных, висящих как гроздья цветах – сплеталась в такой густой покров, что света из сада не было видно. Мы поднялись на веранду. Слуга, почти мальчик, хлопотал у стола, внося накрытые тарелками блюда, фрукты.

Флорентиец сложил наши вещи в углу, и мы сели на деревянный диванчик. Слуга несколько раз входил и выходил, каждый раз весьма недружелюбно, даже презрительно поглядывая на нас. Наконец он сказал Флорентийцу довольно небрежно, что хозяин ждет нас в кабинете. Оставив рядом с вещами наши кожаные калоши, мы прошли в большую комнату, соединенную коридором с террасой. В комнате стояли рояль, мягкая мебель, но пол был голым, в противоположность дому Али, где ноги, куда ни ступи, утопали в коврах.

Мы пересекли комнату и подошли к закрытой двери, из-под которой пробивался свет. Тут Флорентиец отстранил слугу, крепко взял меня за руку, как бы напоминая лишний раз, что я глухой, и постучал в дверь особым манером. Дверь быстро отворилась, и... хорошо, что Флорентиец держал меня крепко за руку, не то бы я обязательно забыл обо всем на свете и закричал. Перед нами стоял не кто иной, как тот незнакомец, который дал мне свое платье в кабинете Али. Флорентиец низко поклонился хозяину, потянул и меня вниз. Я понял, что должен кланяться еще ниже и выпрямился только тогда, когда та же рука-наставница подала мне знак. Флорентиец что-то быстро сказал хозяину, тот кивнул головой, придвинул нам низкие пуфы и приказал слуге что-то, чего я не понял. На физиономии того отразилось сначала огромное удивление, но под взглядом хозяина он почтительно поклонился и бесшумно исчез, закрыв дверь.

Тут только хозяин протянул нам руку, улыбнулся, и взгляд его стал менее строгим. Это прекрасное лицо носило отпечаток усталости и скорби.

– Разве вы не узнали моего голоса? – мягко улыбаясь и держа мою руку в своей, сказал наш хозяин. – А я специально для вас сказал громко несколько слов дворнику, чтобы вы не так удивились. Вы ведь очень музыкальны, это видно по вашему лбу и скулам. Я хотел было сказать, что запомнил оригинальный тембр его голоса, но никак не ожидал услышать его в этом саду. Я начал говорить, ощущая страшную усталость, но вдруг все поплыло перед моими глазами, вся комната завертелась, и я погрузился во тьму...

Долго ли продолжался мой обморок, не знаю. Но очнулся я от приятной свежести в голове и ощущения чего-то прохладного на сердце. Флорентиец подал мне питье, и как только я сделал несколько глотков, заставил проглотить одну из пилюль, данных нам Али Мохаммедом. Очень скоро мне стало лучше, я снова овладел собой и твердо сидел на низком стуле. Хозяин быстро писал какое-то письмо. Флорентиец снял с моего сердца и с головы холодные компрессы и шепнул:

– Скоро пойдем отдыхать, мужайся.

Но теперь я готов был ехать дальше; откуда-то появились силы, точно я окунулся в прохладный бассейн.

Окончив письмо, хозяин позвонил и приказал вошедшему слуге немедленно отнести его по адресу и дождаться ответа. Должно быть, место, куда посылали слугу, ему не очень нравилось. Он хотел что-то возразить, но встретив пристальный строгий взгляд хозяина, низко поклонился и вышел.

Вслед за ним вышли и мы на веранду. Вымыли руки под умывальником. Светлей они, правда, от этого не стали, и я со вздохом подумал, как надоели мне грим, чужой костюм и все приключения, отдающие запахом сказок из «Тысячи и одной ночи».

Усевшись за стол, мы принялись за еду, состоявшую из овощей, фруктов, прохладительных морсов и нескольких сортов хлеба. Все было вкусно, но есть мне не хотелось. Да и старшие мои друзья ели мало.

– Я написал письмо на языке слуги, потому что уверен, что письмо это он и сам прочтет и мулле отнесет. Весть об Али и религиозном походе против него уже докатилась сюда. В письме к своему знакомому торговцу я пишу, что завтра к вечеру мой друг купец приедет к нему покупать ослов. Пусть составит он также гурт скота, который может быть куплен моим приятелем. Здешний мулла, прикрываясь именем этого торговца, ведет крупную торговлю ослами и скотом. Весь день он, конечно, будет занят распоряжениями, куда и как перегнать скот и какую взять цену. Только вечером он займется делами, связанными с походом на Али. Живет этот торговец довольно далеко, и у нас есть не меньше трех часов. Но за это время вам обоим надо переодеться, снова стать европейцами и отправиться назад в К. Там вы пересядете в международный вагон встречного поезда и, надо надеяться, благополучно доедете до Москвы. Не миновать вам опять маскарада, – обратился он ко мне. – Вам придется стать слугой-гидом лорда Бенедикта, ни слова не знающего по-русски. Теперь ярмарка в К., и вы встретите в поезде иностранцев, направляющихся за каракулем, коврами и хлопком, который они покупают на корню. Присутствие лорда Бенедикта среди иностранцев будет естественно. Кроме того, по вашим следам уже гонятся; кто-то выдал, что вы одеты дервишем. Я верю, что ни на момент в вашем сердце не было и нет страха, но действовать надо не только бесстрашно, но и целесообразно. Пойдемте в мою спальню. Я постараюсь помочь вам обоим одеться сообразно ролям и умыться.

Уже светало; мы встали из-за стола и прошли в спальню нашего хозяина. Это была чудесная белая комната. Там была очень простая, но изящная мебель, обитая светло-серым шелком, пушистый светлый ковер, но... рассматривать было некогда. Отодвинув раздвижную, как в вагоне, дверь, хозяин подошел к ванне, влил в нее какой-то жидкости, отчего вода точно закипела. И когда вода успокоилась, сказал:

– Весь грим с вашего тела сойдет. Вы выйдете из воды белым юношей. Здесь мыло, щетки и все, что вам может понадобиться, – и с этими словами он меня покинул.

Я быстро разделся и погрузился в ванну, с необычайным наслаждением чувствуя, как с меня, точно кожа, слезает вся чернота и грязь пути. Я слышал, как шумели струи текущей воды где-то рядом со мной; это, очевидно, полоскался под душем Флорентиец. Помывшись, я растер тело купальной простыней и стал думать, во что же мне теперь одеться. Раздался легкий стук в дверь, и вошел Флорентиец. Он тоже был укутан в купальную простыню, весело улыбался, и я снова поддался очарованию этой дивной красоты, обаянию этого любящего, доброго человека, к которому все сильнее привязывался.

– Пойдем выбирать туалеты, – весело сказал он, и мы двинулись в спальню хозяина.

Я еще не сказал, каким нашел я теперь моего мнимого дервиша. Он был в легком сером костюме, прекрасно сидевшем на нем, в белой шелковой рубашке апаш и белых полотняных туфлях. Я не мог его не узнать. Его глаза-звезды имели какое-то особенное выражение мудрости и огня, ему одному свойственное, как и неповторимый тембр его голоса. Рот с точно вырезанной резцом ваятеля верхней губой говорил об огромном темпераменте. А лоб, высокий, благородный лоб мудреца был так сильно развит в выпуклой надбровной части, что казалось, вся мысль сосредоточивалась именно здесь, как это часто бывает у крупных композиторов.

Пока мы выбирали одежду, наш хозяин рассказывал о своем путешествии и о делах Али. Али поехал к себе, чтобы остаться там и защитить домочадцев или вывезти их куда-нибудь в случае нападения религиозных фанатиков. Но какова судьба Али сейчас, об этом он ничего еще не знал. Он сказал нам, что со следующим поездом сам выедет в Петербург, чтобы приготовить нам квартиру и собрать сведения о моем брате. Сказал еще, что один из мужчин, поехавших с Наль в роли слуги, ее старый дядя, человек опытный, верный и очень образованный.

Говоря все это, он помогал мне надевать костюм юноши-слуги. Это были коричневая куртка с серебряными пуговицами, такие же длинные брюки и кепи с серебряным галуном. Конечно, я не блистал красою, но теперь, расставшись с обличьем черномазого, грязного дервиша, я казался себе просто красавцем. Флорентиец надел костюм из синей чесучи, белую шелковую сорочку и завязал бантом серый шелковый галстук. Положительно во всем он был хорош, казалось, лучше быть нельзя. Он беспощадно прилизал свои волнистые волосы, уложив их на пробор ото лба до самой шеи, надел пенсне, – и все же оставался красавцем.

Время бежало; стало совсем светло. Мы услышали фыркание лошадей, и дворник закричал в окно, что лошади готовы. Хозяин подошел к окну и сказал тихо дворнику:

– Сходи к соседу; если он уже ушел в лавку, то беги к нему, туда, в ряды. Напомни, что он обещал доставить сегодня тетке два халата и ковер. Я же, по дороге на станцию, отвезу моих ночных гостей на скотный рынок. Если они вечером снова захотят ночевать у меня, ты ихпусти.

Дворник побежал выполнять поручение, а мы убрали с веранды наши вещи, которые оказались просто бутафорией. Мы бросили пустые сундучки, вынув из них по несколько книг, а узлы, в которых оказались подушки, развязали и сунули платки в шкаф. Через минуту мы вышли. Я нес легкое пальто моего барина, учась играть роль слуги, помог моему господину сесть на заднее сиденье, а сам сел на скамеечку впереди. Хозяин устроился на козлах, подобрал вожжи, мы выехали из ворот, – я соскочил их закрыть, – и покатили к вокзалу.

Город еще не просыпался. Кое-где дежурные сарты хлопотали у арыков, так как вода в оросительных системах все время должна менять направление движения, и за этим строго следят особо приставленные люди, пуская воду по очереди то в Хиву, то в Бухару, то в Самарканд.

Теперь мы ехали быстро, но все же я мог хорошо различать и дома, и сады. Торговые ряды были совсем иные, чем в К. Они не напоминали багдадский рынок, а скорее были похожи на громадные амбары; но стиль их все же был не европейский. Огромное количество лавок говорило о богатстве города. Я весь ушел в свои наблюдения. Движение становилось все оживленнее, и когда мы выехали за город, это зрелище захватило меня своей необычайной красочностью. Я раньше не видел больших верблюжьих караванов; а здесь, сразу с нескольких сторон, двигались к городу караваны верблюдов, медленно и мерно покачивавших груз на своих горбах. Каждый караван возглавлял маленький ослик, на котором часто сидел погонщик. Все ведущие к шоссе дороги были забиты осликами, нагруженными фруктами, овощами, птицей и всевозможными предметами обихода, – и все это тянулось на базар в огромном облаке пыли, тесно прижатое друг к другу.

Вдали сверкали снежные горы. Небо было местами алое, местами фиолетовое и зеленое, и ярко-синее над нами; веял прохладный ветерок от быстрой езды, – и я снова воскликнул:

– О, как прекрасна жизнь!

Восклицание это явилось полной неожиданностью для моих спутников, углубленных в разговор, и оба они удивленно на меня посмотрели. Но увидев мою восхищенную физиономию, громко рассмеялись. Я тоже залился смехом.

Мы были уже недалеко от вокзала, и мой барин, лорд Бенедикт, сказал мне по-английски:

– Хороший слуга всегда серьезен. Он никогда не вмешивается в разговор барина, ничем не выдает своего присутствия и только отвечает на задаваемые ему вопросы. Он вроде как глух и нем, пока барину не понадобятся его речь и услуги. Тон его был совершенно серьезен, но глаза смеялись. Я сдержал смех, поднес руку к козырьку и ответил весьма серьезно, тоже по-английски:

– Есть, ваша светлость!

– Мы подъезжаем к станции, – продолжал лорд. – Вот вам бумажник. Вы прежде нас сойдете и отправитесь в кассу. Возьмете два билета в международном вагоне. Мы же медленно

выйдем прямо на перрон и там встретимся. Поезд подойдет очень скоро. Если не будет мест в международном, возьмите в первом классе.

Я взял бумажник, выпрыгнул из коляски, как только она остановилась, и побежал в кассу. Купив билеты, я нашел своего барина на перроне и доложил, что билеты в международный приобрел. Он важно кивнул мне на носильщика, державшего два элегантных чемодана. Я не мог понять, каким образом чемоданы оказались при нас, и только потом сообразил, что, вероятно, они уже были привязаны к коляске, когда мы в нее садились.

«Вот новая забота мне», – подумал я. Я не знал, как поступить с бумажником и билетами, но так как показался поезд, я сунул бумажник во внутренний карман куртки.

– В международный, – бросил я небрежно носильщику, и он пошел к самому концу платформы.

Как только поезд остановился, я подал проводнику билеты, и мы заняли наши места, оказавшиеся маленьким двухместным купе. Я разместил вещи и отпустил носильщика. Проводник быстро подмел и без того чистый пол и вытер пыль в нашем купе, должно быть судя по слуге о возможной щедрости барина. Я выскочил на платформу доложить, что все готово.

Раздался второй звонок. Лорд Бенедикт и его спутник медленно пошли к вагону, и с третьим звонком милейший лорд лениво занес ногу на ступеньку. Мне так и хотелось его подтолкнуть сзади, никак я не мог взять в толк его медлительность. Наконец он вошел в вагон и что-то еще сказал своему остающемуся другу. Тут раздался свисток паровоза, и я уже не стал ждать, пока мой барин соизволит пройти дальше, поклонился нашему любезному хозяину и юркнул в вагон трогавшегося поезда.

Только когда наш хозяин совсем исчез из виду, лорд повернулся и прошел в купе. Проводник обратился к нему с вопросом, он сделал непонимающее лицо и поглядел на меня.

– Мой барин – англичанин, – сказал я очень вежливо проводнику, – и ни слова не понимает ни на одном языке, кроме своего английского. А я его переводчик.

Проводник еще раз спросил, нужен ли нам чай. Я перевел вопрос лорду, и проводник получил заказ на чай, бисквиты и две плитки шоколада. Кроме того, я дал ему крупную бумажку и попросил сходить в вагон-ресторан и купить нам лучшую дыню, яблок и груш. Уверившись, очевидно, в том, что от лорда можно ожидать чаевых, проводник обещал купить фрукты на следующей станции, которая славится ими.

Через несколько минут он подал нам чай с лимоном, бисквиты и шоколад, закрыл дверь, и мы остались одни. Несмотря на спущенные темные занавески на окнах и работавший у потолка вентилятор, жара и духота в вагоне стояли адские. Я снял кепи и благословил свою прохладную курточку. Материя была плотная, но оказалась легкой вроде китайского шелка. Мой лорд снял пиджак, улегся на диван, причем ноги его свешивались вниз, и сказал:

– Друг, я очень устал. Если ты чувствуешь себя в силах, – покарауль мой сон часа два-три. Если к тому времени не проснусь, разбуди меня обязательно. Теперь не удастся поспать, – потом, пожалуй, и не получится. А сил нам с тобой потребуются еще много. Не огорчайся, что мы с тобой обо всем не переговорили. Как только я встану, мы перекусим и ляжешь спать ты. Раскрой маленький чемоданчик, в нем ты найдешь кое-что, что забыл в доме Али и что тебе, заботливо осмотрев твоё платье, посылает молодой Али. Эти чемоданы привез нам друг, у которого мы только что были.

С этими словами он повернулся к стене и сразу заснул. Я вышел посидеть с книгой в коридоре на скамейке напротив нашего купе, чтобы проводник не постучал в дверь и не нарушил сон Флорентийца.

Внезапно в коридоре появилось несколько фигур мужчин с довольно помятыми лицами, отчаянно ругавших жару. Все они приготовились выйти на платформу следующей станции покупать фрукты. Кое-кто взглянул на меня, но я уставился в книгу, которую Флорентиец положил на столик в нашем купе.

Это был английский роман из эпохи Средних веков, начало мне показалось скучноватым; но эпоху эту я знал хорошо и решил, что прочесть о ней в английском понимании, пожалуй, будет интересно.

Пассажиры надели кто кепи, кто панаму, кто английский шлем «здравствуй-прощай», как окрестили в России этот головной убор с двумя козырьками, а кто и просто с непокрытой головой вышел на площадку вагона. Поезд подошел к перрону и остановился.

Я открыл окно и стал смотреть на толпу... Здесь было гораздо оживленнее, чем на виденных мною прежде станциях. Торговцы с большими корзинами фруктов сновали по перрону. Мелькали укутанные фигуры женщин, державшихся группками, но я никак не мог понять, зачем они здесь. Они не торговали, а как будто без толку переходили с места на место, ни словом не обмолвясь друг с другом. Важные сарты разных возрастов, стоявшие кучками, пялили глаза на едущую публику. Евреи в своеобразных кафтанах и черных шапочках, – шумные, нетерпеливые, составляли резкий контраст со степенными восточными фигурами.

Пассажиры вскоре возвратились в вагон с купленными на перроне фруктами. Мне казалось, что их покупки очень удачны. Но когда поезд тронулся, ко мне подошел проводник и подал корзину фруктов. Он весело подмигнул в сторону жевавших яблоки пассажиров, а я, взглянув в свою корзину, понял, что такое настоящие восточные фрукты. Там лежали яблоки громадные, какие-то плоские, и другого сорта – прозрачные, продолговатые, в которых просвечивали насквозь все косточки; еще были желтые, как янтарь, груши, две небольшие дыни, от которых исходил головокружительный аромат, и чудные белые и синие сливы.

– Вот это настоящие фрукты! – сказал мне проводник. – Надо знать, у кого купить и кому продать. У меня тут есть приятель. Каждый раз, когда я проезжаю, он мне prepares две такие корзины.

Я восхитился его приятелем, выращивающим такие фрукты, поблагодарил проводника за труды, щедро заплатив ему от имени барина, и угостил его одним яблоком. Он остался очень доволен всеми формами моей благодарности, облокотился о стенку и принялся есть свое яблоко. А я уплетал сочную, божественную грушу, боясь пролить хоть каплю ее обильного сока. Проводник пригласил меня в свое купе, но я сказал, что барин мой очень строг, что, по незнанию языков, он без меня не может обходиться ни минуты и что теперь я передам ему фрукты и мы с ним ляжем спать. На его вопрос о завтраке и обеде я ответил, что барин мой очень важный лорд и что лорды иначе чем по карточке отдельных заказов не обедают.

Я простился с проводником, еще раз его поблагодарил и вошел в свое купе. Я старался двигаться как можно тише, но вскоре обнаружил, что Флорентиец спит совершенно мертвым сном; и если бы я даже приложил все старания к тому, чтобы его сейчас разбудить, то вряд ли преуспел бы в этом нелегком деле.

Все мускулы тела его были совершенно расслаблены, как это бывает у отдыхающих животных, а дыхание было так тихо, что я его вовсе не слышал.

«Ну и ну, – подумал я. – Эта дурацкая ватная шапка да дервишский колпак, кажется, повредили мне слух. Я всегда так тонко слышал, а сейчас даже не улавливаю дыхания спящего человека!»

Я протер уши носовым платком, наклонился к самому лицу Флорентийца и все равно ничего не услышал. Огорченный таким явным ухудшением слуха, я вздохнул и полез за маленьким чемоданом.

Глава 6

Мы не доезжаем до К

В вагоне было так темно, что я сделал маленькую щелку, чуть приподняв шторку на окне, уселся возле столика и попробовал открыть чемоданчик. Ключа нигде не было видно, но повертев во все стороны замки, я все же его открыл, хотя и не без некоторого количества проклятий. Сверху лежали аккуратно завернутые коробочки с винными ягодами, сушеными прессованными абрикосами и финиками. Я вынул их и под несколькими листами белой бумаги нашел письмо на мое имя; почерк письма был мне незнаком.

Я уже не боялся шелестеть бумагой, так как Флорентиец продолжал спать своим богатырским сном. Я разорвал конверт и прежде всего взглянул на подпись. Внизу было четко написано: «Али Махмуд».

Письмо было недлинное, начиналось обычным восточным приветствием: «Брат». Али-молодой писал, что посылает забытые мною в студенческой куртке вещи, а также белье и костюм, которые мне, вероятно, пригодятся и которые я найду в большом чемодане. Прося меня принять от души посылаемое в подарок, он прибавлял, что в чемодане я найду все необходимые письменные принадлежности и немного денег, лично ему принадлежащих, которыми он братски делится со мной. В другом же отделении сложены только женские вещи, деньги и письмо, которые он просит передать Наль при первом же моем свидании с нею, когда и где бы это свидание ни состоялось.

Далее он писал, что Али Мохаммед посылает мне тоже посылочку, которую я найду среди носовых платков. Али молодой очень просил меня не смущаться финансовым вопросом, говоря, что вскоре увидимся и, возможно, обменяемся ролями. Я был очень тронут такой заботой и ласковым тоном письма. Подперев голову рукой, я стал думать об Али, его жизни и той трещине, которая образовалась сейчас в его сердце, полном любви к сестре. Фиолетово-синие глаза Али-молодого, его стройная фигура, такая худая и тонкая, что можно было принять ее за девичью, легкая и плавная походка, – все представилось мне необыкновенно ясно и было полно очарования. Я не сомневался, что он хорошо образован. А подле такой огненной фигуры, как Али-старший, мудрость которого светилась в каждом взгляде и слове, вряд ли мог жить и пользоваться его полным доверием неумный и неблагородный человек.

Я подумал, что всю жизнь мальчик Али прожил в атмосфере борьбы и труда за дело освобождения своего народа. И, вероятно, в его представлении жизнь человека и была нечем иным, как трудом и борьбой, которые стояли на первом плане, а жизнь личная была жизнью номер два. Я не мог угадать, сколько же ему лет, но знал, что он гораздо старше Наль. На вид он был так юн, что нельзя было ему дать больше 17 лет.

Я снова перечел его письмо; но и на этот раз не понял, какие вещи мог отыскать Али в моем платье. Я заглянул снова в чемодан, хотел было поискать, где лежат носовые платки, но приподняв случайно какое-то полотенце, вскрикнул от изумления: в полутьме вагона сверкнуло что-то, и я узнал дивного павлина на записной книжке брата.

Только теперь я вспомнил, как мы перебирали все вещи на туалетном столе брата и я сунул эту вещь в карман. Я вынул книжку и стал рассматривать ювелирную чудо-работу. Чем дольше я смотрел на нее, тем больше поражался тонкому вкусу мастера. Распушенный хвост павлина благодаря игре камней казался живым, точно шевелился; голова, шея и туловище из белой эмали поражали пропорциональностью и гармонией форм. Птица жила!

«Как надо любить свое дело! И к тому же знать анатомию птицы, чтобы изобразить ее такую», – подумал я. И какая-то горькая мысль, что мне уже двадцать лет, а я еще ничего – ни в одной области – не знаю настолько, чтобы создать что-нибудь стоящее для украшения или облегчения жизни людей, пронеслась в моей голове. Я все держал книжку перед собой,

и мне захотелось узнать ее историю. Была ли она куплена братом? Но я тотчас же отверг эту мысль, так как брат не мог бы купить себе столь ценную вещь. Был ли это подарок? Тогда кто преподнес его брату?

Уносясь мыслями в жизнь брата, – такой короткий и сокровенный кусочек которой я вдруг узнал, – я связал фигуру павлина с тем украшением на чалме Али Мохаммеда, которое было на ней во время пира. То был тоже павлин, совершенно белый, из одних крупных бриллиантов. «Вероятно, павлин является эмблемой чего-либо», – соображал я. Жгучее любопытство разбирало меня. Я уже был готов открыть книжку, чтобы прочесть, что писал брат; но мысль о порядочности, в которой он меня воспитывал, остановила меня. Я поцеловал книжку и осторожно положил ее на место.

«Нет, – думал я, – если у тебя, брата-отца, есть тайны от меня, – я их не прочту, пока ты жив. Лишь если жизнь навсегда разлучит нас и мне так и не суждено будет передать тебе в руки твое сокровище, – я его вскрою. Пока же есть надежда тебя увидеть, – я буду верным стражем твоему павлину».

Жара становилась невыносимой. Я съел еще одну сочную грушу и решил отыскать посылочку Али Мохаммеда. Вскоре я нашел стопку великолепных носовых платков, и между ними лежал конверт, в котором прощупывалось что-то твердое, квадратное. Я вскрыл конверт и чуть не вскрикнул от восхищения и изумления. Внутри находилась коробочка с изображением белого павлина с распущенным хвостом. Фигурка птицы была сделана не из драгоценных камней, а из гладкой эмали и золота с точным подражанием расцветке хвоста живого павлина. Коробочка была черная, и края ее были унизаны мелкими ровными жемчужинами. Я ее открыл; внутри она была золотая, и в ней лежало много мелких белых шариков вроде мятных драже. Я закрыл коробочку и стал читать письмо. Оно поразило меня своей лаконичностью, силой выражения и необыкновенным спокойствием. Я его храню и поныне, хотя Али Мохаммеда не видел уже лет двадцать, с тех пор, как он уехал на свою родину.

«Мой сын, – начиналось письмо, – ты выбрал свой путь добровольно. И этот путь – твою любовь и верность тому, кого ты сам признал братом-отцом. Не поддавайся сомнениям и колебаниям. Не разбивай своего дела отрицанием или унынием. Бодро, легко, весело будь готов к любому испытанию и неси радость всему окружающему. Ты пошел по дороге труда и борьбы, – утверждай же, всегда утверждай, а не отрицай. Никогда не думай: «не достигну», но думай: «дойду». Не говори себе: «не могу», но улыбнись детскости этого слова и скажи: «превозмогу». Я посылаю тебе конфеты. Они обладают бодрящим свойством. И когда тебе будет необходимо собрать все свои силы или тебя будет одолевать сон, особенно в душных помещениях или при качке, – проглотить одну из этих конфет. Не злоупотребляй ими. Но если кто-либо из друзей, а особенно твой теперешний спутник, попросит тебя покараулить его сон, а тебя будет одолевать изнеможение, вспомни о моих конфетах. Будь всегда бдительно внимателен. Люби людей и не осуждай их. Но помни также, что враг злобен, не дремлет и всюду захочет воспользоваться твоей растерянностью и невнимательностью. Ты выбрал тот путь, где героика чувств и мыслей живет не в мечтах и идеалах или фантазиях, а в делах простого и серого дня. Жму твою руку. Прими мое пожатие бодрости и энергии... Если когда-либо ты потеряешь мир в сердце, – вспомни обо мне. И пусть этот белый павлин будет тебе эмблемой мира и труда для пользы и счастья людей».

Письмо было подписано одной буквой «М». Я понял, что это значило «Мохаммед». С того момента, как я оказался в вагоне, прошло, вероятно, уже часа два, если не больше. Жара, казалось мне, достигла своего апогея. Я снял курточку, расстегнул ворот рубашки и все же чувствовал, что не могу удержать слипающихся век и вот-вот упаду в обморок. Я посмотрел на Флорентийца. Он все так же мертво спал. Мне ничего не оставалось, как попробовать действие конфет Али Мохаммеда. Я открыл коробочку, вынул одну из конфет и начал ее сосать. Сначала я ничего особенного не ощутил; меня все так же клонило ко сну. Но через некоторое время я

почувствовал как бы легкий холодок; точно по всем нервам прошел какой-то трепет, желание спать улетучилось, я стал бодр и свеж, точно после душа.

Я принялся рассматривать содержимое той части чемодана, где были вещи для меня. Я нашел туго набитый деньгами бумажник; там же оказались очаровательные принадлежности для умывания и для письма. Полюбовавшись всем этим, я привел все в порядок и закрыл чемодан, не прикоснувшись к тому отделению, где были вещи, предназначенные для Наль.

Только я хотел приняться за чтение книги, как в дверь купе слегка постучали. Я приоткрыл ее и увидел в коридоре высокого господина, по виду коммерсанта. Он спросил меня по-французски, не желает ли кто-либо в нашем купе развлечься от скуки партией в винт. Я отвечал, что я слуга-переводчик, в винт играть не умею, а барин мой – англичанин, ни слова не понимает ни по-русски, ни по-французски. И добавил, что я ни разу не видел в его руках карт. Посетитель извинился за беспокойство и исчез.

Быть может, все происходило самым обычным и естественным образом. И вагонный спутник был одним из тех многочисленных картежников, которые способны и день и ночь просиживать за карточным столом. Но моей расстроенной за последние дни калейдоскопом сменяющихся событий фантазии уже мерещился соглядатай; и я невольно задавал себе вопрос: не такой же ли он коммерсант, как я слуга.

«Положительно, – думал я, – не хватает только очутиться нам на необитаемом острове и найти покровителя вроде капитана Немо. Живу, точно в сказке».

Я был бы очень рад, если бы Флорентиец бодрствовал. Мне становилось несносным это долгое вынужденное молчание под единственный аккомпанемент скрипящих на все лады стенок вагона и мерного стука колес. Я еще раз прочел письмо Али-старшего. Я представил себе его огненные глаза и высоченную фигуру. Мысленно поблагодарил его не только за живительные конфеты, но и за не менее живительные слова письма. Я погладил рукой своего очаровательного павлина на коробочке и положил ее, как лучшего друга, во внутренний карман курточки, накинув ее себе на плечи.

Я уже не ощущал давления в висках, пульс мой был ровен; я взял книгу и решил почитать. Приподняв повыше шторку на окне, я посмотрел на местность, по которой мы сейчас ехали. Это снова была пустынная степь; очевидно, здесь не было никакого орошения. Жгучее солнце и сожженная голая земля – вот и весь ландшафт, насколько хватало глаз.

«Да, – это край, забытый милосердием жизни, – подумал я. – Должно быть, люди здесь любят строить голубые купола мечетей и пестро изукрашивать их стены, предпочитают яркие краски в одеждах и коврах, чтобы вознаградить себя за эту голую землю, за эту желтую пыль, по которой верблюды бредут, утопая в ней по колено».

Поезд шел не особенно быстро, остановки были редки. Я начал читать свою книгу. Постепенно сюжет романа меня захватил, я увлекся, забыл обо всем и читал, вероятно, не менее двух часов, так как почувствовал, что у меня затекли руки и ноги. Тогда я встал и начал их растирать. Вскоре тело Флорентийца как-то странно вздрогнуло, он потянулся, глубоко вздохнул и сразу – как резиновый – сел.

– Ну, вот я и выспался, – сказал он. – Очень тебе благодарен, что ты меня караулил. Я вижу, что ты сторож надежный, – улыбнулся он, сверкая белыми зубами и вспыхивающими юмором глазами. – Но почему ты меня не разбудил раньше? Я спал, должно быть, больше четырех часов, – продолжал он, все улыбаясь.

Я же стоял, выпучив глаза, и не мог сказать ни слова, до того он меня поразил своим пробуждением.

– В жизни не видал таких чудных людей, как вы, – сказал я ему. – Спите вы, как мертвый, а просыпаетесь, словно кошка, почуявшая во сне мышь. Разбудить вас? Да ведь я же не гигант, чтобы поставить вас на ноги, как это вы проделали со мной; если бы я даже тряс вас так, чтобы душу из себя вытрясти, то все равно вряд ли добудился бы.

Флорентиец расхохотался, его смешили и моя физиономия, и моя досада.

– Ну, давай мириться, – сказал он. – Если я тебя обидел, что сплю на свой манер, а не так, как полагается по хорошему тону, то, пожалуй, и ты подобрал мне сравнение не очень лестное, что не подобает доброму слуге важного барина. Уж сказал бы хоть «тигр», а то не угодно ли – «кошка».

С этими словами он встал, посмотрел на фрукты и сказал:

– Ну и молодец же ты! Вот так фрукты! Можно подумать, ты их стащил в Калифорнии!

– Ну, в Калифорнию я сбегать не успел; а проводнику щедро за них заплатил, – ответил я. – Во время вашего сна приходил сосед – вроде французского коммивояжера – и приглашал вас поиграть в винт.

Флорентиец ел дыню, кивая на мой доклад головой, и вдруг увидел письма обоих Али, которые я оставил на столе. Я прочел ему оба. Он спросил, куда я спрятал коробочку, и когда я показал на внутренний карман куртки, произнес:

– Нет, не годится. В твоих брюках с внутренней стороны, справа, есть глубокий потайной кожаный карман. Положи ее туда.

Я нащупал справа, у самой талии, карман и переложил туда коробочку. Флорентиец наклонился к окошку, оглядел местность и сказал:

– Скоро подъедем к большой станции. Видишь, там вдали деревья, – это уже станция. Тебе надо будет выйти на перрон, размять ноги и купить газет. Возьми все, какие увидишь, газеты на местном языке тоже.

Я накинул курточку, спрятал письма в книгу и приготовился идти.

– Подожди, письма ты хочешь сохранить? – спросил Флорентиец.

– Непременно, – ответил я.

– Тогда убери их в чемодан. И не только теперь, когда мы можем быть выслежены, – но вообще никогда и нигде не оставляй писем не спрятанными надежно. А самое лучшее, держи все в голове и сердце, а не на бумаге.

Я спрятал письма и вышел, так как поезд уже замедлил ход и подходил к перрону.

– Спроси на всякий случай, нет ли телеграммы до востребования лорду Бенедикту, – сказал мне вдогонку Флорентиец.

Я поднес руку к козырьку фуражки и вышел, торопясь, как усердный слуга, выполнить приказание барина. Встретясь с проводником, я спросил его, где купить газеты и журналы, в какой стороне перрона телеграф и долго ли здесь стоит поезд. Проводник все мне подробно рассказал и пожалел, что не может пойти со мной, так как это большая станция, здесь всегда многие сходят и садятся новые пассажиры, а потому ему нельзя отлучиться. Но поезд стоит минут двадцать, можно не торопиться.

Я прыгнул на перрон, как только остановился поезд. Народу было много. Гортанные голоса пестрой, сожженной солнцем, темнолицей толпы, рассаживающейся по вагонам, в суете и давке перемешивались со смехом и шутками бежавших за водой пассажиров с бутылками, чайниками и кувшинами в руках.

Жара и здесь стояла палящая, но после душного вагона воздух показался мне райским. Я сходил на телеграф, получил две телеграммы для моего барина, купил целую кучу газет, какие только были, и вернулся в вагон. Войдя в него, я встретился с новыми пассажирами. Один был одетым по-восточному, довольно красивым мужчиной с мягким выражением лица, другой – в белом кителе и форменной фуражке инженера-путейца, с лицом каким-то безразличным, маленького роста и, видимо, очень страдавший от жары.

Я вошел в свое купе, подал Флорентийцу телеграммы и газеты. Он прочел телеграммы и протянул их мне. Я сначала ничего не понял, а потом разобрал, что русскими буквами были составлены английские слова. В одной говорилось, что на станции П. нас будут ждать лошади. А другая сообщала, что два дома и два магазина в К. загорелись от неизвестных причин, спасти

удалось только людей и животных. Я взглянул на Флорентийца, который читал местную газету, полученную утром из К. В ней писалось о пожаре в доме Али, о том, что огонь перебросился через дорогу на дом капитана Т. Дом сгорел дотла, спасся один только денщик. А сам капитан, его брат и их друг, хромой старик-купец, не смогли проскочить через стену пламени, так как старый сухой дом загорелся сразу со всех сторон, как картонный. А запас керосина, хранившийся в доме, только раздул огонь.

Флорентиец перевел мне эту заметку и сказал, что, судя по телеграммам, для нас пока все складывается благополучно. У него с Али было условлено, что если нас выследят в этом поезде, Али вышлет со своего хутора лошадей на станцию П. Мы сойдем и вернемся на предстоящую станцию, где и сядем в московский поезд. Телеграмма о лошадях есть, до П. уже недалеко. Сердце мое было беспокойно. Мне думалось, что ведь брат действительно мог вернуться и очутиться в опасности. Я поделился своими мыслями с Флорентийцем. Лицо моего друга было очень серьезно.

– Что твой брат в опасности, – об этом ты знаешь. Пока все они не сядут на пароход и не достигнут Лондона, – им грозит беда. Но что его нет в К. – это так же верно, как и то, что тебя там не было во время пожара. Не будем думать о призраках и фантазиях, растрачивая попусту энергию, а соберем ее, чтобы в полном самообладании выполнить свою долю помощи нашим беглецам. Теперь тебе предстоит организовать наш обед. Дай проводнику еще «на чай», попроси свести тебя с поваром вагона-ресторана и закажи для своего барина-чудака вегетарианский обед. Но только чтобы подали его прямо сюда и не позднее чем через час. Скоро ты почувствуешь усталость; надо тебе поесть и выспаться. Нам предстоит в короткое время сделать 30 верст на лошадях. Лошади будут хороши, коляска, думаю, тоже; но твое здоровье хрупко.

– Я невысокий и худой, но здоровье мое крепко. Я хорошо закален и выдрессирован братом с детства. Не раз сопровождал его в военные лагеря, один раз даже ходил в поход и могу шутя проехать верхом и 40 верст, – ответил я. – Я упал в обморок и часто чувствую изнеможение только из-за непривычной жары. Но конфеты Али спасут меня. Обо мне вы не думайте. Скорее надо бояться вашего непробудного сна; ведь если вы эдак заснете в коляске, как спали только что, то действительно можно сгореть в пожаре раньше, чем вас добудешь.

Флорентиец снова весело расхохотался.

– Эх напугал я тебя своим богатырским сном! Придется одолжить у тебя конфету Али и больше так не спать, – весело прибавил он.

– У вас есть свои пилюли. Вам Али дал коробочку, из которой потчевал меня в своем кабинете, – тоже смеясь, ответил я.

– Есть-то есть, да только ты и вторую из этой коробочки уже съел в доме моего друга ночью, значит, все же одну ты мне должен.

Посмеявшись над моей пилюльной скупостью, он сказал, что давно читает вопросы в моих глазах и мыслях о дервише и Али, но что расскажет обо всем в Москве.

Я пошел хлопотать об обеде. Звонкая монета помогла организовать все легко и просто. Через час в нашем купе стоял складной столик, и лакей из вагона-ресторана принес отличные вегетарианские блюда. Мой барин велел передать повару денежную и сердечную благодарность и просьбу угостить нашего проводника. Наконец все было убрано, и я отправился с последним поручением барина к проводнику. Я сообщил ему, что телеграмма известила лорда о возможности хорошей торговой операции на станции П. Пусть он нас разбудит заранее и поможет вынести вещи на платформу. Он был очень рад услужить нам за хороший обед и все повторял, что такие прекрасные пассажиры редко попадают.

Войдя в купе, я увидел, что Флорентиец приготовил мне постель, вынув мягкую подушку из большого чемодана. Я был растроган его заботой, вспомнил, как сам он спал на твердом валике, и с укоризной сказал ему:

– Ну, зачем вы беспокоитесь? Я же мог так же спать, как и вы. Да и вряд ли засну. Нервы взбудоражены, всюду мерещатся западни.

– Ничего, я дам тебе капель, возбуждение уляжется, и заснешь сном не хуже моего.

Говоря так, он достал из своего широкого пояса-жилета маленький флакон и накапал мне в воду несколько капель.

– А, гомеопатия, – сказал я. – Не очень-то я в нее верю, – но все же проглотил и улегся. Последнее, что я слышал, был смех Флорентийца; я точно провалился в пропасть и сразу крепко заснул.

Проснулся я, как мне показалось, от стука в дверь. На самом же деле это будил меня Флорентиец. На сей раз я проснулся легко, чувствуя, как дивно я отдохнул. Не успел я встать, как раздался стук в дверь. Выглянув в коридор, я увидел проводника, который сказал, что через 20 минут будет станция П., я должен собрать вещи, и он вынесет их на площадку, так как поезд стоит здесь только 8 минут. Мне не пришлось собирать вещи, все было уже сделано Флорентийцем. Он успел и подушку и простыню убрать, пока я одевался и разговаривал с проводником. Сам он был теперь в другом костюме и велел мне надеть поверх моей курточки легкий светлый костюм, а кепи поменять на панаму. Поверх всего он накинул и на меня, и на себя черные плащи, вроде тех, которые носят морские офицеры.

Мы с проводником вынесли вещи на перрон. Кто-то из пассажиров окликнул его из вагона, он наскоро пожал мне руку и убежал. На этот раз вся медлительность Флорентийца исчезла. Он быстро взял большой чемодан и свой саквояж, маленький чемодан отдал мне, взял меня за руку и зашагал не в зал, а в сторону водонапорной башни, огибая садик станции. Едва мы успели зайти за башню, как с противоположной стороны выскочили два дервиша, вглядываясь во тьму ночи. К ним, запыхавшись, подбежал с перрона сарт, быстро что-то сказал и ткнул в руки билеты. Все трое помчались со всех ног к поезду и едва успели вскочить в последний вагон.

Мы молча стояли за выступом башни. Флорентиец крепко держал меня за руку. Мы ждали до тех пор, пока поезд не отошел и все не стихло вокруг. Тогда он сказал мне:

– Нам надо очень быстро пройти с полверсты. Возьми мой саквояж, дай мне свой чемодан и крепко держись за мою руку.

Я хотел возразить, но он шепнул:

– Ни слова, скорее, все после; мы в большой опасности, мужайся. Если успеем сесть в московский поезд, следы наши затеряются.

Мы шли в глубь местности, вправо от станции. Тьма была полная. Шли мы не по дороге, а по узкой тропе и так быстро, что я почти бежал, а Флорентиец шагал своими длинными ногами, не замечая ни тяжести багажа, ни моего бега. Шли мы минут двадцать, внезапно нас кто-то окликнул. Флорентиец ответил, и я увидел в темноте силуэт лошадей и экипажа. Кучер взял большой чемодан, Флорентиец втолкнул меня внутрь, прыгнул сам почти на ходу, – и мы понеслись. Много я ездил с тех пор. Ездил и на пожарных лошадях, и на рысаках, но этого безумного бега, этой темной ночи я не забыл и, очевидно, никогда не забуду. Панаму мне немедленно пришлось снять; в ушах свистел ветер; лошади неслись вскачь. Соображать я ничего не мог. Я помнил только слова Флорентийца, его «мужайся» подобно гвоздю вошло в меня. Мы мчались так почти час; лошади тяжело дышали и пошли медленнее. Мелькнул ряд домов, деревья, – и мы внезапно остановились. «Катастрофа», – подумал я.

Флорентиец выпрыгнул, схватил чемоданы, как ребенка высадил меня вместе с саквояжем и сказал по-английски:

– Скорей бери мою руку.

Мы перебежали через какой-то двор и увидели бричку, в которую мигом взгромоздились. Кучер гикнул, и мы снова помчались.

Флорентиец о чем-то спросил кучера, одетого по-восточному, тот успокоительно что-то объяснял. Я подсадовал на свое незнание языка.

«Вот, и не глух и не нем, а выходит, что и глух и нем», – думал я; и тут же дал себе слово выучиться этому проклятому языку.

– Ничего, – сказал Флорентиец, ласково пожимая мне руку и точно читая мои мысли. – Беда невелика, ты можешь выучить еще хоть 100 языков. Мы скоро приедем; возница сказал, что в следующем кишлаке нас уже ждут билеты и что мы приедем минут за пять до поезда.

Лошади все так же быстро мчались. В этой легкой бричке мне бы не усидеть, если бы Флорентиец не держал меня своей крепкой рукой за талию.

Вскоре стали мелькать дома, у одного из них лошади замедлили бег, и вдруг на подножку брички с моей стороны кто-то впрыгнул. От неожиданности я отпрянул, но, увидев смеющуюся во весь рот физиономию, понял, что это друг. Незнакомец ловко уселся на ободок брички, подал Флорентийцу конверт и весело затрепал что-то, очень его, видимо, смешившее. Вскоре он на ходу спрыгнул и пропал во тьме.

– Билеты есть. Станция уже видна, – сказал Флорентиец. – Мы мчались меньше двух часов. Вот и огоньки станции. Запомни, ты теперь мой двоюродный брат, а не слуга. Но язык русский я знаю плохо, так как вырос и воспитывался в Лондоне. И ты мой гид и помощник в делах, без которого я обходиться не могу. Между собой мы говорим только по-английски.

Мы подкатили к станции, сердечно поблагодарили возницу, и не успели выйти на перрон, как раздался свисток поезда. Билеты были первого класса. Вагон был или пуст, или в нем все спали. В просторном четырехместном купе не было никого. Проводник тоже спал, предоставив нам самим устраиваться на своих местах. Мне показалось, что он был не совсем трезвым и просто решил скрыть от нас свое состояние.

На мое замечание о странном поведении проводника, даже не спросившего у нас билетов, Флорентиец сказал, что нет худа без добра, потому что наши билеты начинаются со следующей станции. Будь он трезв, пришлось бы входить с ним в сделку. А теперь он не сможет даже вспомнить, на какой станции мы сели в поезд. Разместив свои вещи, мы заперли купе и вытянулись на мягких диванах, обитых красным бархатом. Флорентиец сказал, что спать не будет, что ему надо прочесть письмо и кое-что сообразить. Я думал, что мой сон тоже далек, хотел услышать разъяснение всех передряг этой ночи, но не успел задать вопроса, как заснул глубоким сном.

Конец ночи прошел для меня без сюрпризов. Утром я проснулся совершенно бодрым, и первое, что я увидел, было ласково улыбавшееся мне лицо моего друга. Я почувствовал себя таким счастливым, что вижу его не строгим и озабоченным, а добрым и любящим! Снова мне показалось, что я знаю его давным-давно.

– Положительно, – воскликнул я, – я мог бы поспорить, что давным-давно вас знаю. Такую любовь, доверие и уверенность я испытываю рядом с вами. Я хотел бы всегда, всю жизнь следовать за вами и разделять все ваши труды и опасности. Я не могу теперь даже представить себе жизни без вас!

Он рассмеялся, поблагодарил меня за любовь и дружбу и сказал, что его жизнь состоит не из одних только трудов, борьбы и опасностей, но и из больших радостей и знаний, которые он будет счастлив разделить со мной, если я в самом деле захочу пожить возле него.

Было уже часов восемь. Солнце стояло высоко, все такое же яркое. Но мы ехали уже не по голой степи. Здесь почва была покрыта травой, хотя и сожженной солнцем. Селения встречались чаще; и у каждой речушки или озера торчали юрты кочующих киргизов или калмыков.

– Здесь еще есть жизнь, – заметил Флорентиец. – Но ночью мы въедем в полосу пустыни и так и будем ехать по ней больше суток. Жизнь заброшенных туда людей – а это почти только одни семьи железнодорожного персонала – полна бедствий. Кочующие пески не дают возможности развести ни огородов, ни садов. Колодцы возле станций есть, но вода в них соленая и не

годится не только для питья, но даже для выращивания овощей. Питьевую воду им доставляют в цистернах, но далеко не в достаточном количестве, и эти несчастные воруют друг у друга остатки пресной воды. А на зубах у них всегда хрустит песок. Я представил себе эту жизнь и подумал, скольких мест еще не достигла цивилизация. Как много предстоит преодолеть трудностей, чтобы жизнь стала сносной для всех.

В нашу дверь постучали. Это оказался проводник, который спросил билеты и извинился за то, что забыл их взять у нас ночью. А сейчас пойдет проверка билетов, которые должны находиться у него. Флорентиец подал их проводнику.

– Завтрак, чай, – сказал он ему с иностранным акцентом.

Я объяснил проводнику, что мой брат желает завтракать в купе, а не ходить в вагон-ресторан. Он взялся принести нам завтрак, но сказал, что хороший вагон-ресторан прицепят только в Самаре, а пока кормят плохо. На мой вопрос о фруктах ответил, что может их достать сейчас и даже отличные. Я дал ему денег, подумав, сколько же из них он пропьет. И решил, что наше путешествие до Москвы будет не самым комфортным и вряд ли мы получим съедобный завтрак. Но я ошибся. Проспавшийся проводник оказался честным малым. Он вскоре принес отличный кофе со сливками, вкусный хлеб, масло, сыр и фрукты и всю до копейки сдачу.

Когда завтрак был окончен и все убрано, Флорентиец сказал мне:

– Теперь приготовься выслушать, от каких бедствий мы спаслись и какие грозы собираются над головой Али. Люди в одежде дервишей и тот третий, с билетами, которых мы встретили ночью у водонапорной башни, гнались за нами. Фанатики и муллы выследили нас благодаря многочисленности монашествующих сект и отличной шпионской организации, связывающей их всех между собой. Прибежавший к дервишам сарт с билетами сказал им, что мы следуем в К. в международном вагоне, что ты едешь в одежде слуги и тебя надо прикончить в толпе на перроне. А меня надо постараться захватить живьем, когда начнется переполох. Теперь они уже подъезжают к К. Они сели на той станции, где мы сошли, все там обследовали и потому будут уверены, что нас там не было. За хутором Али, откуда нам прислали лошадей, вели слежку весь день. Убедившись окончательно, что нас там нет, они попросили кучера довести их до станции к ночному поезду. Он с удовольствием это сделал, так как иначе ему невозможно было бы выехать за нами, не возбудив ничьих подозрений. Доставив их на станцию, он тотчас уехал, будто бы домой, а на самом деле остановился в том месте, которое Али указал мне в телеграмме. И вот след наш теперь так запутан, что найти нас трудно. Но все же, чтобы нам ехать не вдвоем, ведь они ищут двоих, надо послать телеграммы двум моим друзьям, чтобы они перехватили нас на этом поезде, как и где только смогут и как можно скорее...

Я вызвался отправить телеграммы, но Флорентиец сказал, что это надо поручить проводнику. Телеграммы были написаны. Отдавая проводнику телеграммы и деньги, Флорентиец сказал:

– Все, что останется, возьмите себе. – И задержав его грубую руку в своей прекрасной руке, прибавил тихим проникновенным голосом: – Только не пейте больше. Это не облегчит вашего горя, а прибавит еще несчастий.

Тут произошло что-то необыкновенное. Проводник схватил обеими руками руку Флорентийца, приник к ней и зарыдал. Эти горькие рыдания раздирали мне душу. Слезы стояли в моих глазах, я едва мог их удержать. Флорентиец усадил проводника рядом с собою на диван, отер его слезы своим чудесным, душистым носовым платком и сказал:

– Не горюйте. Девочка ваша умерла, но жена жива. Вы оба очень молоды, и будут еще у вас дети. Но надо так жить, чтобы дети рождались здоровыми, а поэтому никогда не пейте. Дети алкоголиков всегда бывают больными и, чаще всего, несчастными. Он подал ему стакан с водой, накапав туда каких-то капель. Придя в себя, проводник сказал:

– Я никогда не пил до этого раза. Но вернувшись домой, увидел мертвого ребенка и мертвую жену, а тут ни минуты времени и надо уезжать, – не смог я с собой совладать, в дороге

стал пить. Так это я вам, барин, рассказал ночью про свое горе. Все спуталось в моей голове. Я думал, что это я прошлой ночью какому-то азиатцу рассказывал. Он бродил по вагонам, разыскивая своего товарища – слугу в коричневой одежде, и никак мне не верил, что такой у меня не едет. Все я перепутал. Мне показалось, что он прошел в международный вагон, а я задремал минут на пять. А оказалось, что уже две станции проехали, хорошо, что контролер за это время не проходил. Ах, как я все перепутал спьяну! Думал, что это я ему рассказывал. – Он покачал недоуменно головой. – Грех-то какой! Невесть чего мерещится.

Флорентиец еще раз пожал ему руку, повторил, что жена его не умерла, а была в глубочайшем обмороке, что это бывает при родах. Он советовал ему послать домой телеграмму с оплаченным ответом на Самару до востребования.

– Так значит, вы, барин, доктор. Оно и видать. Только доктор и может человека человеком признать, пусть он и беден. Вы не погнушались мне руку пожать, – говорил проводник, аккуратно складывая платок Флорентийца и возвращая его.

– Возьмите его на память о нашей встрече, друг, – сказал Флорентиец. – А это передайте вашей жене, когда вернетесь домой, чтобы принимала по одной капле перед каждой едой. Когда все капли выпьет, поправится совсем. Флакон пусть оставит себе на память о докторе. Когда вам будет тяжело в жизни, поглядите на флакон, подержите в руках мой платок и подумайте о моих словах, как я просил вас никогда не пить.

Он еще раз пожал проводнику руку, задержав ее в своих, улыбнулся ему и сказал:

– Мы еще с вами увидимся. Не теряйте мужества. Пьяный человек – не человек, а только двуногое животное. Не скорбите, что потеряли ребенка, а радуйтесь, что жива любимая жена. Бегите, подъезжаем.

Проводник вышел, мы остались одни. На душе моей было пасмурно. Я-то знал отлично, что Флорентиец не говорил с проводником. Откуда он мог знать о его горе, его жене? Какая-то досада и раздражение опять подымались во мне: опять эта ненавистная таинственность.

– Не надо сердиться, Левушка, – сказал мне Флорентиец, нежно обняв меня за плечи. – Право же, на свете нет чудес. Все объясняется очень просто. Я вышел ночью в коридор, слышу, кто-то плачет и причитает. Я пошел на голос и увидел этого несчастного перед откупоренной бутылкой водки, которой он жаловался и изливал горе по умершим жене и новорожденной дочке. Не надо быть врачом, чтобы знать, что у женщин при болезни почек во время родов случаются глубочайшие обмороки. Я уверен, что тут был как раз такой случай и что его жена потом пришла в себя, но у бедняги не было времени дожидаться и убедиться в этом. Ты уже не ребенок, – продолжал он, усаживая меня подле себя. – Тебе пора оставить манеру прежде всего сердиться, если ты чего-нибудь не понимаешь. Во всем, что тебе кажется таинственным и непонятно чудесным из происшествий последних дней, – ты бы сам убедился, если бы не раздражался, а собирал волю и бдительно наблюдал, – нет чудес, а есть та или иная степень знания.

Голос его и выражение милых глаз, все было так отечески нежно и ласково, что я приник к нему, – и снова волна радости, уверенности и спокойствия пробежала по мне. Я был счастлив.

Вскоре вернулся проводник, принес квитанции на посланные телеграммы и букет роз, которым украсил наш столик. Флорентиец сказал, что ждет в Самаре двух своих друзей, для которых просит оставить соседнее с нами купе. А что касается нашего, то хочет занять в нем все четыре места, чтобы хорошенько отдохнуть. Проводник объяснил, что, заплатив за лишние две плацкарты, мы получили право на все купе. Но если хотим заказать купе для друзей, должны внести вперед сумму за заказ и билеты, что мы сейчас же и выполнили.

Дальше наше путешествие проходило без осложнений. В Самару мы должны были приехать ночью. Я очень устал, мне хотелось спать, и я попросил проводника сделать мне постель. Флорентиец сказал, что будет ждать друзей, от постели отказался, а для них попросил приготовить постели в соседнем купе. Я спросил проводника, почему наш вагон совсем пустой.

Он объяснил, что сейчас все едут на ярмарку в дальние восточные города, что в ту сторону вагоны заполнены до отказа купцами всех наций; а оттуда пока идут пустые поезда. Но через две недели нельзя будет достать ни одного билета обратно, даже в третьем классе.

Постель моя была готова, я отлично вымылся, с восторгом переоделся в чистое белье, присланное мне в подарок Али Махмудом, мысленно поблагодарил его, дав себе обещание отблагодарить его за заботу, пожелал спокойной ночи Флорентийцу и мигом заснул.

Глава 7

Новые друзья

Проснувшись, я увидел, что диван Флорентийца пуст. Должно быть, было уже довольно позднее утро, и – что меня особенно поразило – в окна стучал частый крупный дождь. С тех пор как я приехал к брату в К., где летом никогда не бывает дождя, о котором мечтаешь, покрытый потом и пылью, как о манне небесной, – это был первый дождь.

Я мигом вскочил и засмеялся, вспомнив, как меня поразила быстрота движений Флорентийца, когда он вот так же внезапно сел, проснувшись. И я сейчас, точно кот, почуявший мышь, бросился к окну и отдернул занавеску.

Дождь показался мне добрым, родным братом. В его серой пелене был виден лес, настоящий зеленый лес, и не было жары.

Какая-то нежность к своей родине, даже как бы чуть-чуть раскаяние, что я мало ценил ее до сих пор, с ее лесами, рощами, зелеными полями и сочной травой, пробудились во мне. Я радовался, что попал снова в свой край, где нет серо-желтого ландшафта, одинаково пустынного на десятки верст с торчащими, как бирюзовые горы, голубыми куполами и минаретами мечетей. И как только эта восточная картина мелькнула в моем воображении, так сразу же встала передо мной и вся цепь событий, людей, отдельных слов и небольших эпизодов последних дней. Моя радость потускнела, быстрота движений исчезла. Я стал медленно одеваться и думать, какой сумбур царит в моей голове. Я положительно не мог связать все события в ряд последовательных фактов. И все, что было третьего дня, вчера или два дня назад, – все сливалось в какой-то большой ком, и я даже не все отчетливо помнил.

Внезапно в коридоре я уловил какое-то слово, и тембр голоса опять показался мне знакомым. «Странно, – подумал я. – Всегда у меня была изумительная память на лица и голоса. А теперь и этот дар я, кажется, теряю. Должно быть, проклятая шапка дервиша да жара повредили мне не только слух, но и мозги».

В эту минуту снова донесся из коридора баритональный, неповторимо красивый голос. Я даже сел от изумления, и всего меня бросило в жар, хотя ни о какой жаре и помина не было. «Нет, положительно я стал какой-то порченный, как говорил денщик брата, – продолжал я думать, утирая пот со лба. – Не может это быть дервиш, который дал мне свое платье и у которого мы останавливались ночью». Все завертелось в моей голове, до физической тошноты, недоумение заполнило меня всего. Я думал, что если бы под страхом смертной казни я должен был рассказать в эту минуту подробный ход событий, я бы не мог их передать, память моя отказывалась логически работать. Я сидел, уныло повесив голову, а в коридоре теперь уже явно различал английскую речь – один из голосов принадлежал Флорентийцу, а другой был все тот же чудесный металлический баритон, мягкий, ласкающий слух; но, казалось, прибавь этому голосу темперамента, – и он может стать грозным, как стихия.

«Нельзя же так сидеть растерянным мальчиком. Надо выйти и убедиться, кто же говорит с Флорентийцем», – продолжал я думать, напрасно стараясь отдать себе отчет, когда точно я видел мнимого дервиша, сколько прошло времени с тех пор, мог ли он очутиться здесь сейчас.

Только я решился выйти из купе, как дверь открылась, и вошел Флорентиец. Его прекрасное лицо было свежо, как у юноши, глаза сияли, на губах играла улыбка, – ну, век смотрел бы на это воплощение энергии и доброты; и никогда не поверил бы, как сурово и серьезно может быть это лицо в иные моменты.

Он точно сразу прочел все мои недавние мысли на моем расстроенном лице, сел рядом, обнял меня и сказал:

– Мой милый мальчик! События последних дней могли расстроить и не такой хрупкий организм, как твой. Но все, что ты испытал, ты перенес героически. Ни разу страх или мысль

о собственной безопасности не потревожили твоего сердца. Ты был так верен делу спасения брата, как только это возможно. Теперь я узнал о судьбе обоих Али и их домочадцев. И он рассказал мне, как Али с племянником, проводив нас и дервиша, вернулись в город. Там они вывели из дома всех жильцов и спрятали их в глубоком бетонном погребе, расположенном в каменном сарае в самом конце парка. Туда же успели вынести из дома наиболее ценные ковры и другие вещи, замаскировав вход так, что найти его никто не мог. Там, в этом укрытии, Али и все его домочадцы провели ту страшную ночь, когда толпа дервишей и правоверных накинута на его дом. Ужасов, неизбежных в таких случаях, – как выразился Флорентиец, – он не стал мне рассказывать. Власти, услышав, что религиозный поход принимает колоссальные размеры, – а это уже никого не устраивало, – разослали по всему городу патрули. Но патрули вышли тогда, когда дом Али был уже подожжен со всех сторон.

С домом моего брата фанатики поступили так же. Сухой как щепка старый дом сгорел дотла. Но тут несчастья было больше. Подкупленный денщик пустил вечером каких-то незнакомцев в дом, якобы для того, чтобы осмотреть великолепную библиотеку брата. Вошедшие стали угощать его вином, до которого он был великий охотник, очевидно, угостились и сами на славу. Как было дело дальше, – никто толком пока не знает. Но факт, что два человека там сгорели, а денщик еле выскочил из горящего дома. Ему рамой расшибло голову, когда он выпрыгивал из окна. Еле добравшийся до задней калитки сада, полуодетый, окровавленный, почти в безумном состоянии, он был подобран проходившим патрулем и доставлен в госпиталь. Там в бреду он все повторял:

– Капитан – барин... брат... Они насильно лезли. – И снова – Капитан... барин... брат... Я их не пускал... Они подожгли.

Военный доктор, узнав от солдат, что больной им известен, что это денщик капитана Т., встревожился и послал доложить генералу о пожаре. Он спрашивал, известно ли кому-нибудь, где капитан Т., не сгорел ли он вместе с братом в своем доме? Доктор сообщал также, что от денщика его узнать ничего толком нельзя, и надо думать, в себя он не придет и скоро умрет.

Разбуженный генерал, предубежденный вообще против местного населения, ненавидевший к тому же, когда тревожили его ночной покой, – помчался прямо к губернатору. Он там затеял такой спектакль, что всех немедленно поднял на ноги. Ничего не видевшие и не слышавшие до этой минуты власти, считавшие местные дела не подлежащими санкциям со стороны царских властей, сразу же спохватились, прозрели и кинулись тушить пожар фанатизма, объявив этот религиозный поход бунтом.

Хорошо заплатив местным властям за невмешательство, бесчинствующая толпа фанатиков была поражена примчавшейся пожарной командой и нарядом военных. Мулла стал уверять дервишей и толпу, что это только инсценировка, что никого не тронут. Но когда увидел выстроившуюся цепь солдат, готовых к стрельбе, – первый бросился бежать со всех ног, за ним разбежалась и вся толпа.

Дом Али удалось наполовину отстоять, но дом брата горел, как костер, пламя бушевало с такой силой, что даже подступить к нему близко было невозможно. Очевидно, благодаря бреду бедняги-денщика создалась уверенность, что капитан Т. и его брат сгорели в этом доме.

Пока Флорентиец все это мне рассказывал, у меня, как у одержимых навязчивой идеей, сверлила в голове мысль: «Чей я слышал голос? Как зовут этого человека?» Не в первый раз за наше короткое знакомство я замечал поразительное свойство Флорентийца: отвечать на мысленно задаваемый вопрос. Так и теперь, он мне сказал, что в Самаре в наш вагон сели два его друга, которых он встретил на перроне.

– Один из них тебе уже знаком, – проговорил он с неподражаемым юмором, так комично подмигнув мне глазом, что я покотился со смеху. – Его зовут Сандра Кон-Ананда, он индус. И ты не ошибся, голос его мог бы сделать честь любому певцу. Поет он изумительно, прекрасно знает музыку, и ты, наверное, сойдешься с ним на этой почве, если другие стороны этого свое-

образного, интересного и очень образованного человека не заинтересуют тебя. Другой мой друг – грек. Он тоже человек незаурядный. Великолепный математик, но характера он более сложного; очень углублен в свою науку и мало общителен, бывает суров и даже резковат. Ты не смущайся, если он будет молчать; он вообще мало говорит. Но он очень добр, много испытал и всякому готов помочь в беде. По внешнему обращению не суди о нем. Если у тебя явится охота с ним поговорить, – ты пересиль застенчивость и обратись к нему так же просто, как обращаешься ко мне.

– Как я обращаюсь к вам?! – горячо, даже запальчиво воскликнул я. – Да разве может кто-нибудь сравниться с вами? Если бы тысячи дивных людей стояли передо мной и мне предложили бы выбрать друга, наставника, брата, – я никого бы не хотел, только вас одного. И теперь, когда все, что мне было дорого и близко в жизни, – мой брат, – в опасности, когда я не знаю, увижу ли его, спасусь ли сам, – я радуюсь жизни, потому что я подле вас. Через вас и в вас точно новые горизонты мне открываются, точно иной смысл получила вся жизнь. Только сейчас я понял, что жизнь ценна и прекрасна не одними узами крови, но и той радостью жить и бороться за счастье и свободу всех людей, которую я осознал, находясь рядом с вами. О, что было бы со мной, если бы вас не было рядом все эти дни? Неважно даже, что я бы погиб от руки какого-нибудь фанатика. Но важно, что я ушел бы из жизни, не прожив ни одного дня в бесстрашии и не поняв, что такое счастье жить без давления страха в сердце. И это я понял рядом с вами. Теперь я знаю, что жизнь ведет каждого так высоко, как велико его понимание своего собственного труда в ней как труда-радости, труда светлой помощи, чтобы тьма вокруг побеждалась радостью. И все случайности, бросившие меня сейчас в водоворот страстей, мне кажутся благословенными, происшедшими только для того, чтобы я встретил вас. И никто, никто в мире не может для меня сравниться с вами!

Флорентиец тихо слушал мою пылкую речь; его глаза ласково мне улыбались, но на лице его я заметил налет грусти и сострадания.

– Я очень счастлив, мой дорогой друг, что ты так оценил мое присутствие возле тебя и нашу встречу, – сказал он, положив мне руку на голову. – Это доказывает редкую в людях черту благодарности в тебе. Но не горячись. Если сознание твое расширилось за эти дни, то, несомненно, и сердце твое должно раскрыться. Должны стереться в нем, как и в мыслях, какие-то условные грани. Ты должен теперь по-новому смотреть на каждого человека, ища в нем не того, что сразу и всем видно, не бросающихся в глаза качеств ума, красоты, остроумия или злых свойств, а той внутренней силы и доброты сердца, которые только и могут стать светом во тьме для всех окружающих, среди их предрассудков и страстей. И если хочешь нести свет и свободу людям в пути, – начинай всматриваться в них по-новому. Начинай бдительно распознавать разницу между мелким, случайным в человеке и его великими качествами, родившимися в результате его трудов, борьбы и целого ряда побед над самим собою. Начинай сейчас, а не завтра. Отойди от предрассудка, что человек тот, чем он кажется, и суди о нем только по его поступкам, стараясь всегда встать в его положение и найти ему оправдание.

Оба моих друга мало знают твоего брата и так же мало знают Налъ. Но как только Али намекнул им месяц назад о возможности происшедшей сейчас развязки, они оба решили оставить все свои дела, ждали зова и приехали помогать Али точно так же, как и я. Попробуй первый раз в жизни взглянуть в их лица иначе. Пусть любовь к брату будет тебе ключом к новому пониманию сердца человека. Прочти с помощью этого ключа ту силу преданной любви, которая объединяет всех людей, без различия наций, религий, классовой розни. Подойди к ним впервые как к людям, цвет крови которых такой же красный, как и у тебя.

Он обнял меня, сказал, что с Сандрой Кон-Анандой он уже пил кофе в вагоне-ресторане, а теперь мне следует проявить вежливость к другому гостю и предложить ему свои услуги спутника и гида. Он грек, и его зовут Иллофиллион. Он говорит по-русски плохо и очень стесняется говорить на этом языке в непривычной обстановке.

– Побори свою застенчивость, – прибавил Флорентиец, – вспомни, как я вел тебя за руку в трудные минуты. Вообрази, что для него это тоже минуты неприятные, и облегчи ему их. Он отлично владеет немецким. Если тебе надоест его затрудненная русская речь, ты можешь заставить его рассказать по-немецки много интересного из его студенческих лет. Он окончил естественный факультет в Гейдельберге и математический в Лондоне.

С этими словами Флорентиец предложил мне скорее привести себя в полный порядок, достал мне из саквояжа кепи вместо панамы, и... я вздохнул и отправился знакомиться с греком, не менее застенчивым, чем я сам.

За свои двадцать лет я не очень часто бывал в обществе. Четырнадцать лет я прожил неотлучно с братом, под руководством которого проходил программу гимназии. Я разделял его кочевую жизнь, был с ним даже в Р-ском походе. Но когда брату пришлось перевестись с полком в далекую Азию, он решил отдать меня в гимназию в Петербурге, где у нас была тетка. Он надеялся, что, быть может, удастся поместить меня пожить у нее. Но старая чванливая дама не пожелала иметь такого замухрышку своим компаньоном в повседневной жизни, – и брату пришлось выбрать гимназию с интернатом. На экзаменах – я проходил их для поступления в шестой класс – мои познания поразили учителей. Я сдал языки и математику блестяще. Сочинением на тему о сказке в произведениях великих писателей я их всех сразил. Они дали мне тему из русской литературы, я же понял ее как тему в мировой литературе, и навалил со свойственным мне азартом столько, что выданной бумаги мне не хватило. На просьбу дать мне еще бумаги учитель с удивлением сказал, что за всю его жизнь ему пришлось впервые встретиться с тем, чтобы ученику не хватило бумаги, отпущенной на черновик и на переписку набело.

Подошедшему в эту минуту директору он показал мою работу, сказав, что вот уже три часа, как я пишу, почти не отрываясь. Директор взял мои листы, стал читать, прочел почти целый лист и спросил, пристально на меня поглядев:

– Вы сын писателя?

– Нет, – ответил я, – я сын своего брата.

Увидев полное изумление на лицах директора и учителя, который едва сдерживался, чтобы не прыснуть со смеху, я смешался и быстро пробормотал:

– Простите, господин директор. Я сказал, конечно, несуряцицу. Я хотел сказать, что не помню ни отца, ни матери. А как себя помню, – все меня воспитывал и учил брат; и я привык видеть в нем отца. Вот потому-то я так нелепо и выразился.

– Это хорошо, что вы так любите брата. Но кто же готовил вас? Вы так прекрасно подготовлены!

– Брат занимался со мной по программе гимназии, других учителей у меня не было.

– А кто же ваш брат? – спросил, улыбаясь, учитель.

– Поручик N-ского полка, – ответил я.

Наставники переглянулись, и директор, все еще глядя удивленно на меня, но улыбаясь мне мягкой и доброй старческой улыбкой, сказал:

– Или вы феномен по способностям, или ваш брат поразительный педагог.

– О да, мой брат не только педагог, но и такой ученый, какого больше и нет, – выпалил я восторженно. – Да вот и он, – закричал я, увидев милое лицо моего брата за стеклянной дверью класса.

И забыв, где я, кто передо мной, зачем я здесь, я выскочил в коридор и обвил шею моего дорогого брата руками. Как сейчас помню то страстное чувство любви, благодарности, тоски от предстоящей разлуки и радости от привычного объятия и ласки брата, какое я испытал тогда.

Тихо разняв мои руки, брат вошел в класс, стал во фронт перед директором и сказал:

– Прошу извинить, ваше превосходительство, моего брата. В кочующей офицерской жизни мне удалось обучить его немногим наукам, которые я сам знал. Но манеры и дисципли-

нированность пока не удалось ему привить. Я надеюсь, что под вашим просвещенным руководством он их приобретет.

Директор подал руку брату, познакомил его с учителем, с любопытством разглядывавшим его, и наговорил ему массу комплиментов по поводу моей подготовки и блестящих способностей. Но в моем сердце появилась первая трещинка. Я понял, что осрамил брата. Вспомнил, как часто он повторял мне, что надо всегда быть выдержанным и тактичным, вдумываться в обстоятельства, отдавать себе отчет, где ты и кто перед тобой, – и только тогда действовать.

Весь этот эпизод детской жизни мелькнул сейчас передо мной, вызванный точно такой же спазмой сердца, которую я испытал тогда. Я встретил впервые чужого человека, который стал мне так же дорог и близок, как мой милый брат, – и я снова себя почувствовал неумелым ребенком, не знающим, как подойти к чужому человеку, что ему сказать и как себя вести, чтобы выполнить желание Флорентийца и доставить ему удовольствие своим поведением... Я стоял в коридоре, не решаясь постучаться в соседнее купе, а в моей голове, точно молнией освещенный, пронесся этот эпизод моей первой детской бестактности.

Сжав губы, вспомнил я из письма Али: «превозмогу», – и постучался.

– Войдите, – услышал я незнакомый мне чужой голос.

Я открыл дверь и чуть было не убежал назад к Флорентийцу, как когда-то к брату в коридор.

На диване, друг против друга, сидели рослые люди, но я увидел только две пары глаз. Глаза дервиша, – сразу запомнившиеся мне в первое свидание, глаза-звезды, – и пристальные, почти черные глаза грека, напоминавшие прожигающие глаза Али-старшего.

– Позвольте теперь познакомиться с вами по всем правилам вежливости, – сказал, вставая, Сандра Кон-Ананда. – Это мой друг Иллофиллион.

Он пожал мне руку, я же неловко мял в руке свое кепи и, кланяясь греку, проговорил, как плохие ученики нетвердо выученный урок:

– Ваш друг Флорентиец послал меня к вам. Может быть, вам угодно пойти в вагон-ресторан выпить кофе? Я могу служить вам гидом.

Грек, пристальный взгляд которого вдруг перестал быть сверлящим, а засветился юмором, быстро встал, пожал мне руку и сказал с сильным иностранным акцентом, очевидно выбиравая слова, но совершенно правильно по-русски:

– Я думаю, мы с вами – «два сапога – пара». Вы так же застенчивы, как и я. Ну, что же. Пойдем вместе. Мы, конечно, не найдем двести, но потеряем четыреста. А все же мы с вами подходим друг другу и, наверное, пока решимся спросить себе завтрак, – все съедят у нас под носом, а мы останемся голодными.

Говоря так, он скроил такую постную физиономию, так весело потом рассмеялся, что я забыл все свое смущение, залился смехом и уверил его, что буду решительно беззастенчив и накормлю его до отвала.

Мы вышли из купе под веселый смех Кон-Ананды.

Пройдя в вагон-ресторан, я быстро нашел там столик в некурящем отделении, заказал завтрак и старался занимать моего нового знакомого, обращаясь к нему на немецком языке. Он отвечал мне очень охотно, спросил, бывал ли я в Греции. Я со вздохом сказал, что дальше Москвы, Петербурга, Северного Кавказа и К., где был в первый раз и очень коротко, нигде не бывал. Нам подали кофе, и я, пользуясь правом молчания за едой, украдкой, но пристально рассматривал моего спутника.

Положительно, за мою детскую и юношескую монотонную жизнь сейчас я был более чем вознагражден судьбой, встретив сразу так много событий и лиц, не только незаурядных, но даже не уместяющихся в моем сознании. Казалось, надеть моему греку венки из роз на голову, накинуть на плечи хитон, – и готова модель для лепки какого-нибудь олимпийского бога, древнего царя, мудреца или великого жреца, – но в современное одеяние в моем сознании он как-

то не влезал. Не шел ему европейский костюм, не вязался с ним немецкий язык, – скорее ему подошли бы наречия Испании или Италии. Правильность черт его лица не нарушал даже низкий лоб с выпуклостями над бровями – тонкими, изогнутыми, длинными – до самых висков. Нежность кожи при таких иссиня-черных волосах и едва заметные усы... Про него действительно можно было сказать: «Красив, как Бог».

Но того обаяния, которым так притягивал к себе Флорентиец, в нем не было. Насколько я не чувствовал между собою и Флорентийцем условных границ, – хотя и понимал всю разницу между нами и его огромное превосходство во всем, – настолько Иллофиллион казался мне замкнутым в круг своих мыслей. Он точно отделен был от меня перегородкой, и проникнуть в его мысли, думалось мне, никто бы не смог, если бы он сам этого не захотел.

Мы дождались следующей остановки, вышли из ресторана и прошлись по перрону до своего вагона. Мой спутник поблагодарил меня за оказанную ему услугу, прибавив, что гид я очень приятный, потому что умею молчать и не любопытен.



ТЫ ДОЛЖЕН ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ СМОТРЕТЬ НА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, ИЩА В НЕМ НЕ ТОГО, ЧТО СРАЗУ И ВСЕМ ВИДНО, НЕ БРОСКИХ КАЧЕСТВ УМА, КРАСОТЫ, ОСТРОУМИЯ ИЛИ ЗЛЫХ СВОЙСТВ, А ТОЙ ВНУТРЕННЕЙ СИЛЫ И ДОБРОТЫ СЕРДЦА, КОТОРЫЕ ТОЛЬКО И МОГУТ СТАТЬ СВЕТОМ ВО ТЬМЕ ДЛЯ ВСЕХ ОКРУЖАЮЩИХ, СРЕДИ ИХ ПРЕДРАССУДКОВ И СТРАСТЕЙ. И ЕСЛИ ХОЧЕШЬ НЕСТИ СВЕТ И СВОБОДУ ЛЮДЯМ В ПУТИ, – НАЧИНАЙ ВСМАТРИВАТЬСЯ В НИХ ПО-НОВОМУ. НАЧИНАЙ БДИТЕЛЬНО РАСПОЗНАВАТЬ РАЗНИЦУ МЕЖДУ МЕЛКИМ, СЛУЧАЙНЫМ В ЧЕЛОВЕКЕ И ЕГО ВЕЛИКИМИ КАЧЕСТВАМИ, РОДИВШИМИСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕГО ТРУДОВ, БОРЬБЫ И ЦЕЛОГО РЯДА ПОБЕД НАД САМИМ СОБОЮ. НАЧИНАЙ СЕЙЧАС, А НЕ ЗАВТРА. ОТОЙДИ ОТ ПРЕДРАССУДКА, ЧТО ЧЕЛОВЕК ТОТ, ЧЕМ ОН КАЖЕТСЯ, И СУДИ О НЕМ ТОЛЬКО ПО ЕГО ПОСТУПКАМ, СТАРАЯСЬ ВСЕГДА ВСТАТЬ В ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ И НАЙТИ ЕМУ ОПРАВДАНИЕ



Я ответил ему, что детство прожил с братом, человеком очень серьезным и довольно молчаливым, а юность не баловала меня такими встречами, когда люди бы интересовались мною. Поэтому хотя я и очень любопытен, вопреки его заключению, но научился, так же как и он, думать про себя. Он улыбнулся, заметив, что математики – если они действительно любят свою науку – всегда молчаливы. И мысль их углублена настолько в логический ход вещей, что даже вся Вселенная воспринимается ими как геометрически развернутый план. Поэтому суета, безвкусица в высказывании не до конца продуманных мыслей и суетливая болтовня вместо

настоящей, истинно человеческой осмысленной речи, какой должны были бы обмениваться люди, пугает и смущает математиков. И они бегут от толпы и суеты городов с их далекой от логики природы жизнью.

Он спросил меня, люблю ли я деревню и как я мыслю себе свою дальнейшую жизнь. Я ответил, что вся жизнь моя прошла пока на гимназической и студенческой скамье. Рассказал ему, как поступил в гимназию, смеясь, вспомнил и блестящие экзамены. Потом рассказал и о первом горе – разлуке с братом и жизни в Петербурге. А затем, как бы для самого себя, подводя итоги какого-то этапа жизни, сказал ему:

– Сейчас я на втором курсе университета и тоже горе-математик. Но мои занятия даже еще не привели меня к пониманию, какую жизнь я хотел бы себе выбрать, где бы хотел жить, и я даже не понимаю пока, какое место в жизни вообще занимает моя фигура.

Мы стояли в коридоре, и мой собеседник предложил мне войти в его купе. Наш разговор – незаметно для меня – принял теплый товарищеский характер. Меня перестала смущать внешняя суровость моего нового знакомого, наоборот, я почувствовал как бы отдых и облегчение в его присутствии. Мои мысли потекли спокойнее; мне очень хотелось узнать об университетах Берлина и Лондона, и я был рад посидеть с моим новым другом. Но мне очень хотелось также заглянуть к Флорентийцу и передать ему, что я не осрамился, выполняя его поручение, и что грек – очень интересный человек.

Только я собирался сказать, что зайду на минутку в свое купе, как дверь открылась, и на пороге я увидел Кон-Ананду. Он сказал, что Флорентиец заснул и что, если мне интересно поговорить с Иллофиллионом, он охотно посидит в моем купе и покараулит сон Флорентийца. Я уже знал хорошо, как крепко тот спит, и с удовольствием согласился поменяться местами с Анандой на некоторое время. Мы продолжали прерванную было беседу. Чем дальше говорил Иллофиллион, тем сильнее поражался я его знаниям, наблюдательности, а главное, силе его обобщений и выводов. Я сам не лишен был синтетических способностей, хорошо разбирался в логике, сравнительно много читал. Но все мои, называемые блестящими, способности показались мне жалким хламом, сброшенным в лавке старьевщика в общую кучу, в сравнении с четкостью мысли и речи моего собеседника.

– Как странно я чувствую себя сегодня. Точно я поступил в новый университет и прослушал ряд замечательнейших лекций. Но если бы вы еще рассказали мне о быте студентов, с которыми вы учились, об уровне их развития и интересов, – сказал я.

И снова полилась наша беседа, причем мой собеседник проводил параллель между студенчеством Греции, Германии, Парижа и Лондона, которое он имел возможность наблюдать. Я ловил каждое слово. Он говорил так просто и вместе с тем так образно, что мне казалось, будто я сам путешествую вместе с ним, все слышу и вижу собственными глазами.

Страстная жажда знаний, жажда видеть мир, людей, узнать их нравы и обычаи наполнили меня экстазом. Я перестал отдавать себе отчет о времени и месте, забыл, что я все свое образование получил трудами брата, бедного русского офицера, и решил, что непременно увижу весь свет и не оставлю ни одного угла, не побывав там.

– А хотелось бы вам путешествовать? – услышал я вопрос Иллофиллиона.

Точно свалившись с неба, я осознал, что никак не смогу объехать не только всего мира, но даже своей родной России, потому что я беден и до сих пор умею зарабатывать только гроши уроками да переводами.

– Хотеть-то я очень бы хотел, – вздохнув, ответил я. – Но мне не везет с путешествиями. После пятилетней разлуки с братом, пока я заканчивал гимназию и поступал в университет, я выбрался наконец к нему в Азию. Мечтал увидеть новый свет и новый народ, – и вот все скомкалось. И брата я теперь потерял, – прибавил я тихо, вспомнив, с какой радостью я ехал на свидание с ним в далекое К. и с какой скорбью возвращаюсь оттуда.

Иллофиллион склонился ко мне, необыкновенно ласково поглядел мне в глаза и так же тихо ответил:

– Я всем сердцем сострадаю вам, друг. Я тоже пережил такой момент жизни, когда потерял все, что любил, и всех, кого любил, в один день. Но мое состояние было хуже вашего, потому что я не мог помочь никому из тех, кого любил. Когда я сам, тяжело раненный, пришел в себя, я увидел только похолодевшие трупы своих родных и близких. А что касается всех моих надежд, идеалов, стремлений, исканий истины и чести, – все это также было выметено из моей души и превращено в прах, ведь убийцами были фанатики-лицемеры, разыгрывавшие роль друзей... Он помолчал и продолжал еще более проникновенным тоном:

– Ваше положение много лучше того момента моей жизни. Вы еще не потеряли брата, вы только в разлуке с ним. Вы еще можете ему помочь и уже начинаете дело помощи. Я приехал погостить к Али пять лет тому назад, возвращаясь из путешествия по Индии, и познакомился у него с вашим братом. Али рассказал мне о его чистой жизни большого ученого-самоучки, о его беззаветной преданности идее свободы. Такие, редко встречающиеся в русском офицере качества, я помню, меня очень тронули. И когда я увидел вашего брата, его прекрасное лицо сказало мне так много, что я сразу стал ему преданным другом. А вы знаете из наблюдений даже такой короткой и юной жизни, как ваша, что цельные, устремленные характеры не умеют отдавать своих сердец в дружбе наполовину. Мы часто виделись с вашим братом. И это я пополнял постоянными посылками редких книг его прекрасную библиотеку. Удивительно, что странствующая жизнь офицера не помешала ему таскать за собой повсюду сундуки с книгами. Ну а когда он осел в К., тут уж подлинно он собрал настоящую ценность – библиотеку мудреца. Как жаль, что все это погибло...

Снова помолчав, придвинувшись ближе, он добавил:

– Мне по опыту понятно ваше состояние. И то, что я вам скажу, я решаюсь сказать только потому, что сам прошел через все печальные этапы человеческой жизни, от которых страдаете вы. Нельзя думать, как думает всегда юность, что жизнь ценна главным образом тем личным счастьем, которое она сулит. Не считайте корнем вашего положения сейчас страдание и опасности, которые вы переносите за брата. Откиньте личные чувства и мысли о себе; думайте о защите брата, о труде и энергии, которыми вы поможете ему выйти живым и свободным из десятка ловушек, а их наверняка будут расставлять ему фанатики и царское правительство, не очень-то любящее думающих офицеров. Если бы вам не удалось увидеться с братом...

– Как, – вскричал я в ужасе, – вы полагаете, что он умер?

– О нет, я уверен, что он жив и уже в Петербурге, – ответил он. – Я говорил только о весьма возможной случайности, что вам не удастся увидеться с братом в ближайшее время и он не сможет взять вас с собой.

– О, это было бы ужасно. За целых пять лет я не провел с ним и двух месяцев, если сосчитать те редкие дни, когда он приезжал ко мне в Петербург. Я жил надеждами. Наконец сбылась моя мечта, я должен был прожить с ним лето и даже часть осени, – и снова я одинок...

Тоска, раздражение, протест вдруг овладели мной. Мне подумалось, что чужие люди встали между мной и братом. Увеличили его интересы чужого народа, а я, брат-сын, оказался брошен, забыт и не нужен. Буря, вихрь страстей рвали мое сердце! Ревность, как дикие кони, таскала мою мысль от одного события к другому, от одних лиц к другим...

Мой товарищ молчал. Долго молчал и я. Наконец раздражение стало стихать. Я перестал ломать руки, и преданность брату, благодарность за его любовь и заботы взяли верх над грубыми чувствами моего эгоизма и отчаяния.

Я вспомнил лицо брата там, на дороге, под величественным деревом, когда Али высаживал из коляски Наль. Тогда меня поразило это лицо незнакомого мне человека, человека недюжинной воли, чьи брови слились в одну сплошную линию. И этот человек не был тем моим братом-добряком, которого я знал. Это был незнакомец, чей поток энергии устремляется как

лава, сметая все на пути. Тогда я был просто поражен и не сделал того единственного вывода, который сделал бы всякий более опытный человек. А может быть, быстрота и необычайность последующих событий похоронили тот вывод в моем сознании, зато сейчас он стал мне ясен: я понял, что я совсем не знал моего брата, что все то, что он отдавал мне – круглому сироте, стараясь вознаградить меня за бедность детства без материнской ласки и нежности, – было только небольшой частью души моего брата...

И вдруг, как маленький мальчик, я разрыдался. Я почувствовал себя еще более одиноким, обманутым чудесной иллюзией, которую я сам себе создал. Я принимал брата-отца за то существо, которое всецело принадлежало мне; у которого первой заботой был я и который всю ценность жизни видел во мне. До этой минуты я полагал, что и он, как я сам, начинал и кончал свой день, идя мысленно рядом со мной и делая все дела обиходной жизни для того только, чтобы в конце какого-то периода жизни увидеться со мной и уже не разлучаться никогда более. Теперь, в огромной внутренней борьбе, я разглядел в моем брате лицо другого, незнакомого мне человека. Я увидел ряд его интересов, не имеющих ко мне никакого отношения, его спаянность с другими, едва знакомыми мне людьми. И в первый раз мелькнул у меня в сознании вопрос: «Что такое вообще брат? И кто настоящий брат? Какую роль играет родство людей по крови? Что ближе: гармония мыслей, чувств, вкусов или привязанность единокровия?»

Я не замечал, что слезы продолжали литься из моих глаз. Но теперь это не были бурные рыдания ревнивого разочарования, какой-то иной, сладкий привкус получили мои слезы. Не то я временно похоронил что-то детское и прекрасное, не то рвал в себе старую привычку воспринимать людей как опору лично для себя, – я как будто вращался в новую и чуждую еще мне шкуру мужчины, где слова «мать», «отец» и соединенная с ними нежность отходили на второй план. Не то я сладко мечтал о семье, которой не знал, семье, опорой которой должен был стать я сам.

Трудно рассказать теперь о тех юношеских переживаниях. Но, пожалуй, одну из капель горечи прибавляло сознание, что я так юн, так ребячлив и неопытен в делах жизни и так плохо воспитан. Я приложил все усилия, чтобы остановить слезы. Стыдно было плакать так безудержно перед чужим человеком. И когда мысль перешла от сожалений о самом себе к брату, я вспомнил снова и письмо Али, и недавние слова Флорентийца. Я вытер слезы и, не глядя на моего спутника, тихо сказал:

– Простите меня, я не в силах был сдержаться.

Я ждал обычного, быть может, дружеского соболезнования. Но то, что я услышал, еще раз показало мне, как плохо я разбирался в людях.

– Не раз в жизни я плакал так же горько, как плакали вы сейчас. И верьте, детство мы все хороним трудно. Иллюзии любви и красоты, создаваемые нашим воображением, до тех пор терзают нас, пока мы сами не завоеваем полную свободу от них. И только тогда рушатся наши иллюзорные желания всякой красоты вовне, когда оживет в нас все то прекрасное, что мы в себе носим. Все толчки скорби, потерь, разочарований учат нас понимать, что нет счастья в условных иллюзиях. Оно живет только в свободном добровольном труде, не зависящем от наград и похвал, которые нам за него расточают. В том труде, который мы внесем в свой обычный рабочий день как труд любви и радости, отдав его укреплению и улучшению жизни людей, их благу, их счастью.

Иллофиллион обнял меня и стал рассказывать историю своей жизни.

В тот ужасный день, очнувшись от глубокого обморока, он увидел себя лежащим в крови среди мертвых тел друзей и родных. Погибло всё и все, с чем он был с детства связан; он не знал, куда ему идти, что делать, вся семья его была убита. Он вспомнил, что у него была старая нянька, жившая в горах, недалеко от той долины, где стоял дом его родных. Но он не знал, к

какой политической партии она примкнула. Быть может, и она убита так же, как и несколько семейств этой долины, своими вчерашними единомышленниками, а сегодняшними врагами.

Но раздумывать было некогда. Иллофиллион спустился к морю, выкупался, переоделся в чужое платье, кем-то забытое или брошенное на берегу, и побрел, обливаясь слезами, по уединенной тропе, в другую часть острова к старой няне.

– Я не буду утомлять вас подробностями своей скитальческой жизни, – продолжал Иллофиллион. – Коротко скажу, что с помощью старушки, с ее деньгами я сел на пароход и отправился в Рим, где у нее был сын, талантливый ювелирных дел мастер, как она мне сказала. На пароходе я, вероятно, умер бы от горя и голода, если бы меня не нашел уже знакомый вам Кон-Ананда. В одну из ночей, уже совершенно изнемогая от лихорадки, в полусознательном состоянии, я услышал над собой разговор на итальянском языке, который я хорошо знал от моей няни, родом итальянки. Молодой звучный и прекрасный голос говорил:

– Что это? Никак здесь лежит мальчуган?

Другой, сиплый и грубый, как бы нехотя цедил слова сквозь зубы:

– Какой это мальчуган? Это целый мужик, смертельно пьяный.

Я всей душой хотел закричать, что я не пьян, что я умираю от голода и холода и прошу помощи, но не мог произнести ни слова. Я уже приготовился умирать, и мелькнувшая было, а теперь исчезающая надежда на спасение показалась мне еще одним надругательством судьбы надо мной. Тяжело ступающие шаги пошли прочь, унося с собой ворчание грубого голоса. Я думал, что и другой голос замрет вдали, как вдруг сильная рука нежно приподняла мою голову и горестное: «Ох», вырвалось, как стон.

Глаза я от слабости открыть не мог. Склонившийся надо мной незнакомец громко что-то закричал своему спутнику. Тот, нехотя, едва волоча ноги, снова подошел к нему. Повелительный тон молодого, в котором слышалась непреклонная воля, мигом привел ворчуна в другое настроение.

– Одним духом отправляйся за носилками и доктором, старый лентяй. Так-то ты следил за нашими вещами в трюме, что не видел, как здесь умирает человек.

– Виноват, барин, этот воришка, верно, только что пробрался сюда. Я проверял ящики, все было цело.

– Брось бессмысленную болтовню. Какой он воришка? Ведь это слабый ребенок! Мигом – носилки и доктора! Или ты отведаешь моей палки.

Куда девалась шаркающая походка? «Есть», – выговорил слуга зычным басом и побежал так, как и я бы не смог, хотя бегал я, здоровый, хорошо.

– Бедный мальчик, – услышал я над собой тот же проникновенный голос. И как он был нежен, этот голос. Точно ласка матери, проник он мне в сердце, и жгучие, как огонь, слезы скатились по моим щекам.

– Слышишь ли ты меня, бедняжка?

Я хотел ответить, но только стон вырвался из моих запекшихся губ, языком я двинуть не мог; он, точно мертвое, сухое, шершавое постороннее тело, не повиновался мне.

– Я спасу тебя, спасу во что бы то ни стало, – продолжал говорить незнакомец. – Мой дядя – доктор...

Но дальше я уже не слышал, я провалился в бездну.

Когда я очнулся, я увидел себя в просторной, светлой комнате. Окна были открыты, постель была такая мягкая и чистая. Я подумал, что я дома. Память унесла все грозное, что я пережил; и я стал ждать, что сейчас войдет мама, станет ласково меня бранить за леность. Она имела привычку говорить со мной по-немецки, хотя была гречанка. Но мать ее была немка, и она привыкла к этому языку как к своему родному. Я все ждал ее милого: «Лоллион», но она что-то долго не шла. Тогда я решил ее поугадать, как иногда проделывал это в раннем детстве,

крича во все горло, а она делала вид, что страшно испугалась, складывала моляще свои престелные руки и преуморительно говорила по-немецки:

– О господин охотник, право, крокодил меня сейчас проглотит. Пожалуйста, не теряйте времени на крик, убейте его скорее.

Я закричал, как мне показалось, во весь голос; но получился очень слабый звук, похожий скорее на долгий стон.

– Ну, вот он и очнулся, – сказал позади меня голос. – Мой дядя, вы не доктор, а чудовошебник.

С этими словами к кровати подошли два совершенно незнакомых мне человека. Один из них, как вы, конечно, сами догадались, был Кон-Ананда, которого вам и описывать нечего; другой еще не старик, но гораздо старше. Приветливое лицо, ласковые карие глаза и какое-то необычайное благородство, манеры, мною еще не виденные, сразу объяснили мне, что это человек того высшего света, о котором пишут в романах, но который недоступен людям среднего класса. Я понял, что вижу впервые вельможу.

– Ну, дружок, теперь мы можем быть спокойны, что ты будешь совершенно здоровым человеком, – сказал вельможа по-итальянски. – Не можешь ли ты объяснить мне, какой сегодня день?

Я смотрел на него, совершенно ничего не понимая. Память еще не вернулась ко мне. Он налил в стакан какой-то жидкости, довольно сильно пахнувшей, и помог мне ее выпить. Я посмотрел на лицо Ананды и не узнал, конечно, в нем моего спасителя. Сон снова меня одолел.

Когда я вновь проснулся, мне показалось, что возле постели сидит женская фигура. Я подумал, что это мама; но на этот раз я уже помнил о моем первом пробуждении и поэтому совсем не удивился, когда увидел Ананду.

Я не мог ни в чем отдать себе отчета и механически заговорил по-немецки:

– Я видел только что маму. Зачем же она ушла?

– Она сильно устала, – ответил он мне. – Если я вам не очень неприятен, то позвольте мне вас накормить обедом. Хотя предупреждаю, что назвать обедом то, чем я буду вас кормить, нельзя. Доктор очень строг, и вам позволено есть только жидкие каши и кисели.

Он помог мне сесть в постели и, как ни осторожно он это делал, я едва не упал в обморок. Он быстро дал мне глоток вина, и вскоре обед был кончен; но ему пришлось кормить меня с ложечки.

Такая моя жизнь длилась около месяца. И сколько раз я ни спрашивал о маме, она всегда или спала, или устала, или поехала за покупками. На мои вопросы, чья это комната, он всегда отвечал: «Ваша». Как-то раз я спросил, отчего няня не придет ко мне. Он ответил, что если я помню ее адрес, он напишет ей, чтобы она приехала.

– Как же я могу не помнить адреса няни? – возмущенно сказал я. – Это все равно как если бы я забыл адрес своей матери.

И я тут же продиктовал ему адрес няни, прося, чтобы завтра же она меня навестила. Он засмеялся и сказал, что если достанет ковер-самолет, непременно слетает за ней сам. И здесь я опять ничего не понял.

Прошла еще неделя; меня навещал несколько раз вельможа-доктор и позволил встать. Это была сущая комедия, когда я с помощью Ананды попробовал первый раз встать. Роста для своих 15 лет я был очень большого; а за время болезни я так вырос, что поразил даже доктора.

– Можно ли так быстро расти, дружок? – сказал он мне, смеясь. – Если ты будешь продолжать в таком же духе, тебя никто, даже няня, не узнает.

На этот раз я все же отдал себе отчет, что времени прошло довольно много, а няни все нет и мама все прячется. Я посмотрел на доктора. Но он, как бы не замечая моего молящего взгляда, помог мне надеть халат, и оба они с Анандой довели меня до окна, где стояло высокое кресло с подножкой; так что, сидя в нем, я мог любоваться открывавшимся из окна видом.

Я смотрел неотрывно вперед, на видневшееся вдали море; смотрел на сад, спускавшийся к морю, не узнавая ландшафта, и не мог ничего понять. Я спросил доктора, почему я здесь живу? Ведь мой дом в долине у самого моря, а здесь, высоко на горе, я никогда не был и не знаю этого места.

Лицо доктора было очень серьезно, хотя и очень спокойно. Он взял мою руку, держа ее, как считают пульс, но я был уверен, что он только хотел передать мне часть своей энергии и бодрости.

– Если ты хочешь видеть няню, – тихо сказал он, поглаживая свободной рукой мои волосы, – я могу ее позвать. Но я хотел тебе сказать, мой мальчик, что ты уже почти мужчина, а няня твоя слаба и стара. Ей, вероятно, придется сообщить тебе кое-что неприятное. Старайся быть спокойным; думай, как бы облегчить ей эту трудную минуту. Забудь о своем горе, если оно тебя поразит; старайся только не допустить себя до слез, чтобы старушка видела, что она вырастила мужчину, а не бабу в штанах.

Он повернулся к двери и сказал по-итальянски кому-то, чтобы привели мою няню. Затем снова приняв прежнее положение, стал ласково гладить мои волосы, тихо говоря:

– Все движется в жизни, мой мальчик. В жизни человека не может быть ни мгновения остановки. Двигаясь по своим делам и встречам, человек растет и меняется непрерывно. Все, что носит в себе сознание как логическую мысль, все меняется, расширяясь в мудрости. Если же человек не умеет принимать мудро изменяющихся обстоятельств, не умеет стать для них направляющей силой, – они его задавят, как мороз подавляет жизнь грибов, как сушь уничтожает жизнь плесени. И, конечно, тот человек, кто не умеет – сам изменяясь – понести легко и просто на своих плечах новые обстоятельства, будет равен грибу или плесени, а не блеску закаляющейся и растущей в борьбе творческой мысли.

Я слушал и вбирал жадно каждое его слово, не спуская с него глаз. Добрейшее лицо его и мягко гладившая мои волосы рука точно передавали мне любовь и мужество. Я вдруг осознал, что возле меня стоит друг, такой величавый друг, рука которого не только опора для меня в эту минуту, но крепость ее такова, что вся жизнь моя не может отягчить потока любви, который горит в этом человеке.

Какое-то почти благоговейное живительное чувство радости, благодарности, не испытанной еще мною, уверенности и мужества наполнили меня. Я поднес к губам нежно гладившую меня руку, поцеловал ее и ответил ему:

– Я буду стараться быть всегда мужественным. О, как бы я хотел быть таким, как вы, добрым, умным и сильным. Как подле вас мне чудно хорошо. Я точно вырос и весь переменялся.

Он обнял меня, прижал к себе, поцеловал в лоб и сказал:

– Будь же мужествен сейчас. Как перенесешь ты встречу с няней, точно так начнешь и свою новую жизнь.

С этими словами он меня покинул, и через минуту в комнату вошла моя няня.

Она вообще была старенькая, но сейчас я увидел перед собою совершенную руину. Но насколько поразила ее внешность меня, настолько же, вероятно, перемена во мне ужаснула ее. Не успела она подойти ко мне, как всплеснула руками, закричала, заплакала, встала на колени на подножку моего кресла, схватила мои руки и так зарыдала, что мужество в моем сердце стало таять, как воск.

Хотя я и вырос в стране, где природная эмоциональность людей легко обнажалась в криках и жестах, хотя я с детства знал чисто итальянскую, особенно характерную, экзальтированность моей няни, вспыхивавшую, как спичка, сразу до яркого огня и так же мгновенно потухавшую, но на этот раз в ее рыданиях было столько горечи и отчаяния, что я не мог найти слов, чтобы ее утешить. Среди ее причитаний я мог разобрать как припев: «Мой несчастный мальчик! Мой дорогой сиротка, у тебя нет даже родины».

Какое-то смутное воспоминание начинало меня давить. Мысли, как тяжелые жернова, ворочались трудно и обрели весомость. Я до сих пор помню ощущение в голове, необыкновенно странное, какого я больше в жизни не знавал. Мне казалось, что я ощущаю, как в моих мозговых полушариях происходит какое-то чисто физическое движение, которое я и принял за тяжело шевелящиеся мысли. Должно быть, вся кровь прилила к голове; я почувствовал острую боль в сердце, как укол длинной иглы, и вдруг, сразу, точно в свете мелькнувшей молнии, вспомнил все. Не знаю, потерял ли я сознание в эту минуту, но отчетливо понял, что все картины пережитого, одну за другой, я ясно и точно увидел...

Когда я смог соображать, я увидел возле себя Ананду и только теперь понял, что это он шептал мне в трюме парохода: «Я спасу тебя, мой мальчик».

Ананда глядел на меня сосредоточенно и подал мне какое-то питье. Я выпил и сказал ему:

– Благодарю вас. Благодарю за жизнь, которую вы мне спасли. Нет, не надо, – я отвел его руку с новым лекарством, – и теперь уже не лекарство может вылечить меня, а тот пример любви и заботы о чужом, брошенном человеке, который я здесь нашел.

Не понимаю, каким образом я все забыл. Я только тогда все вспомнил, когда голос няни и ее причитанья вернули меня в детство. И когда я услышал, что у меня нет даже родины, – я вспомнил все сразу. Я не мог еще долгое время собраться с силами; дыхание мое стало так тяжело, точно мои легкие сдавил приступ астмы. Ананда уговорил меня выпить каких-то капель, положил на блюдечко пучок желтой сухой травы и поджег ее. Вскоре она задымилась, распространяя сильный аромат, и мне стало лучше.

– Где я сейчас? Это ваш дом? – спросил я Ананду.

– Это Сицилия, – ответил он мне. – Вы здесь в полной безопасности. Это дом доктора. На вашей родине резня восставших друг на друга партий еще не прекратилась, и бедствия продолжают сыпаться на головы ни в чем неповинных людей. Фанатики-политики режут не только друг друга, но даже иностранцев, что грозит войной всей вашей стране. Все это очень подробно вы узнаете из газет, которые я для вас сохранил. Вы больны уже больше двух месяцев. И весь первый месяц мой дядя каждый день опасался, что ему не удастся вырвать вас из рук смерти. Только на второй месяц вашей болезни он сказал мне, что вы в безопасности. А за две недели он точно определил день, в который к вам вернется сознание. Одно время он опасался, что сознание не вернется к вам в полноценном виде. И потеря памяти могла вообще распространиться на весь ход вашего мышления. Свидание с няней он считал моментом перелома, как оно и случилось на самом деле.

Далее он рассказал мне подробно, как я был перенесен в их каюту на пароходе, как они оба с дядей дежурили по очереди у моей постели и как в беспамятстве и бреде я рассказывал им много раз всю свою историю, вплоть до посадки на пароход. Он спросил, не помню ли я, каким образом попал в трюм. Я не помнил или, может быть, даже не понимал, где этот трюм. Но помнил, что искал место, где бы спрятаться от людей и выплакать свое горе.

– Дальше история моя сложилась просто, – продолжал Иллофиллион. – Не буду вам рассказывать, сколько раз в моем сердце чередовались бури отчаяния, негодования и безысходного горя. Сколько раз я терзал сердца моих благодетелей и няни своими бурными рыданиями. Скажу только, что каждый из приступов моего горя или раздражения не вызывал ни негодования, ни упреков моих новых друзей. Постепенно атмосфера постоянной ласки и высокой культуры стала вводить и меня в колею выдержки. Я понял, увидел наглядно, как я невежествен и как неделикатно себя веду, нарушая гармоничный ритм жизни моих спасителей, заполненной целиком научной работой доктора и диссертацией, которую тогда писал Ананда. Я уже мог выходить из дома, бродил по саду, даже спускался к морю. Но читать доктор мне не позволял, сказав, что если хоть одна неделя пройдет без слез, – он разрешит мне читать. Желанье начать читать и учиться было так велико, что я сумел сохранить равновесие и ни разу не обнаружил своего горя, доверяя его только подушке по ночам.

Однажды в праздничный день доктор велел заложить коляску, и мы поехали с ним прокатиться, чтобы я мог полюбоваться красотами Сицилии. Природа казалась мне волшебной сказкой. По дороге доктор спросил меня, хорошо ли я знаю историю своей родины. К стыду своему, я должен был признаться, что совсем не знаю. По возвращении с прогулки доктор провел меня в свой кабинет, где было так много книг, что я даже сел от изумления. Не только стены были ими заставлены, но через всю комнату шли ряды высоких, до потолка стеллажей с книгами, образуя узкие коридоры, в каждом из которых стояла передвижная лесенка. Доктор вошел в один из книжных коридоров и достал мне историю Древней Греции на немецком языке.

С этого дня началось мое обучение. Каждый из моих новых друзей находил возможность отрываться от своих дел, чтобы заниматься со мной. Я старался изо всех сил, так что моей старушке няне приходилось жаловаться на свое одиночество; и только это заставляло меня бросать книги и уроки и идти с ней к морю. Я обнаружил способности к математике, и мне дали шутовское прозвище «Эвклид». Так меня и звали мои наставники, одна няня называла меня Лоллионом.

Шесть месяцев труда и спокойной жизни вылечили меня полностью. Вырос я еще больше, но оставался все таким же худым, и горе мое все так же разъедало мое сердце. Однажды за обедом доктор сказал, что через неделю ему надо ехать в Рим, там пробыть месяц, а затем отправиться в Берлин по целому ряду дел.

– Не хочешь ли поехать со мной в качестве секретаря? – обратился он ко мне.

Я нерешительно посмотрел на Ананду, тот ласково мне улыбнулся, но молчал.

– Что тебе мешает? – снова спросил меня доктор. – Неужели тебе не хочется увидеть мир, о котором ты столько читаешь в последнее время?

– Мне очень хочется увидеть мир, особенно Рим. Кроме того, я был бы счастлив быть вам полезным и чем-нибудь отплатить за все то, что вы сделали для меня. Но я боюсь, что не сумею быть таким секретарем, какой вам нужен. Я все же постараюсь быть слугою честным и усердным. И еще меня смущает, – продолжал я, – как перенесет разлуку няня? Кроме меня у нее нет никого.

– У нее есть сын в Риме. Мы ее туда отвезем. Когда будем возвращаться, ты уже научишься разбираться в поездках и маршрутах, заедешь за ней в Рим и привезешь сюда. Решайся. Тем более что тебе придется когда-то вступить в самостоятельную жизнь и получить систематическое образование. Во время нашей поездки ты сможешь выбрать по вкусу место, где будешь учиться; а о далеком будущем не стоит думать.

Чтобы закончить в коротких словах мою – отныне счастливую – историю жизни, прибавлю, что через несколько дней мы выехали с доктором и няней в Рим, где оставили ее у сына. Вы сами понимаете, что я переживал, знакомясь с этим городом, с его памятниками, галереями, музеями и так далее. Тысячи раз я благословлял няню за свое знание итальянского языка, носясь по городу и исполняя поручения доктора. Мы проездили, кочуя по разным местам, не два месяца, а целых полгода. Чтобы продолжать занятия регулярно, я достал себе программу берлинских гимназий и, вставая ежедневно в шесть часов утра, готовился сдать экзамены за семь классов.

Однажды я поделился своей идеей с доктором. Он проверил мои знания, остался ими доволен и посоветовал вернуться домой. Там я должен был подзаняться с Анандой и сразу сдать экзамены на аттестат зрелости в Гейдельберге, где Ананда будет защищать диссертацию и проживет не менее года. Я с благодарностью принял это предложение. Мы побывали еще и в Вене по делам доктора и там расстались. Я направился через Венецию в Рим, а он в свое имение в Венгрии, сказав, что будет жить там год или два и мы с Анандой и няней приедем туда на летние каникулы.

С тех пор так и шла моя жизнь. Я много учился и немало повидал: путешествовал по Египту и Индии, видел разных мудрецов и ученых, артистов и художников, но выше доктора не встретил никого. Случайно его поручение свело меня с Али и Флорентийцем, в которых я увидел силу, знания, доброту и честь, не уступавшие тем, какими обладал мой великий друг-доктор. Тесная дружба, связывавшая их между собою, была раскрыта и мне с Анандой. Теперь я уже подхожу к тому периоду дружбы с Али, когда я приехал гостить к нему в К. и познакомился с вашим братом. Вы, конечно, лучше меня знаете своего брата. Я же могу сказать, что сила его духа, воля, любовь к человеку, огромный ум и знания ставят этого офицера-самоучку, прожившего свою жизнь в захолустье, выше почти всех тех, кого я встречал в жизни, и почти наравне с теми моими великими друзьями, о которых я вам рассказывал. Не стесняйтесь же меня. Я перенес страдания; я знаю бездну человеческого горя; и мое сердце, сгоревшее однажды в скорби, неспособно осуждать встретившегося или тяготиться его горем и слезами. Я научился видеть в человеке брата.

Долго длилась еще наша беседа; мы пропустили завтрак, и сейчас нас уже звали обедать. Я позабыл о себе, о своей жизни. Образный рассказ Иллофиллиона – он словно резцом высекал свои истории, так четки были его слова и мысли, – увлек меня в водоворот жизни другого мальчика, гораздо более несчастного, чем я.

Иллофиллион предложил мне умыться и пойти обедать. Я не возражал, понимая, что легче всего будет нам обоим сейчас в молчании посидеть за едой. Когда мы вернулись в свой вагон, то нашли Ананду и Флорентийца беседующими в коридоре с кем-то из пассажиров.

Я так обрадовался Флорентийцу, будто целый год его не видел. Еще раз понял я, как цельно, всем пылом одинокого сердца я привязался к нему за это короткое время. Он радостно протянул мне обе руки, которые я сжал в своих.

– Как я соскучился без вас, – смеясь, сказал я ему.

– А я-то думал угодить тебе, так как не научился еще спать в твоем вкусе, – ответил он мне, тоже смеясь. – Но не очень-то ты любезен по отношению к Иллофиллиону, – продолжал он, все еще смеясь. – Я надеюсь, Эвклид, ты не замучил моего братишку математикой?

– Нет, нет, ваш друг Иллофиллион так помог мне своей беседой, что я теперь стал умней сразу на 20 лет! – воскликнул я.

Все засмеялись. Флорентиец, обняв меня за плечи, состроил преуморительную гримасу лорда Бенедикта и спросил:

– Неужели же в моем обществе ты стоял на месте или вовсе поглупел?

Я снова почувствовал, как надо следить за каждым словом, вздохнул и, не зная, что ответить, перевел глаза на Иллофиллиона. Тот сейчас же сказал Флорентийцу, что всем известен его неподражаемый флорентийский талант ловить людей на слове. Но что он, Эвклид, недаром сильнее его как математик и уж однажды как-нибудь поймает самого Флорентийца еще тоньше, чем он меня сейчас.

Я предложил Флорентийцу устроить для него обед в купе, на что особенно весело отозвался проголодавшийся Ананда. И я отправился к проводнику проявлять свой организаторский талант. Вскоре в купе была подана лучшая вегетарианская еда, какая только нашлась в поезде. И мы с Иллофиллионом – только что отобедавшие – тоже приняли в ней некоторое участие.

Нам оставалось ехать до Москвы только одну ночь, и рано утром я мог надеяться увидеть брата. Я так унесся мыслями к предстоящему свиданию, столь живо представил себе, как теперь по-новому буду смотреть на него, что перестал замечать и слышать что бы то ни было вокруг.

Внезапно что-то мокрое заставило меня вздрогнуть. Это Флорентиец намочил кусок салфетки в воде и положил мне на руки. Я опомнился, поднял глаза и даже оторопел. Три пары совершенно разных глаз одинаково пристально смотрели на меня. Я так смешался, когда все

засмеялись, что покраснел до корней волос, пришел в раздражение и чуть было не рассердился. Но смех друзей был так добродушен и, должно быть, размечтавшись, я представлял собой занятную картинку, а потому и сам расхохотался, вспомнив, что ведь я же «Левушка – лови ворон».

– Грезы о Москве, Левушка, – сказал Флорентиец, – дело законное и очень нужное. Но тебе следует настроить себя таким образом, чтобы не личное счастье от свиданья с братом было для тебя целью, а твоя помощь ему.

Опять меня удивило, что он прочел мои мысли. Когда я сказал, что поражен его способностью отвечать на невысказанные мысли, он уверил, что в этом так же мало чуда, как в его ночной беседе с проводником. И рассказал мне, что жена проводника жива, что в Самаре тот получил ответ на свою телеграмму. Я почувствовал, как поверхностен мой интерес к людям по сравнению с тем глубоким вниманием к ним, которое отличает Флорентийца. Я ведь и думать забыл о проводнике и его горестях.

Между тремя моими новыми знакомыми завязался разговор о предстоящих действиях в Москве. Флорентиец не сомневался, что наше пребывание там будет осложнено фанатиками из К., что все свои усилия они направят на то, чтобы поймать меня и допытаться, где мой брат и была ли похищена им Наль. По его словам, легенде о сгоревших в доме брата людях преследователи или не поверят, или даже сами сожгли кого-нибудь из мести, воспользовавшись удобным случаем. Поэтому он предложил остановиться в одной из гостиниц всем вместе. Мы с Флорентийцем займем один номер, а рядом поселятся Ананда и Эвклид. Он настрого запретил мне выходить куда-нибудь одному и в гостинице держаться только с кем-либо из них троих. Я не совсем понимал, каким образом мне могут грозить беды, но обещал исполнить все в точности.

Время прошло незаметно. Иллофиллион рассказывал эпизоды из своих путешествий по Индии; Ананда поведал о страшной ночи в С., где ему удалось спасти женщину, приговоренную фанатиками к избиению камнями.

Настала ночь. Я лег раньше всех, чувствуя полное изнеможение от массы новых впечатлений и мыслей. Проснулся я, расталкиваемый Флорентийцем, и услышал фразу, невероятно меня поразившую, потому что мне казалось, что я спал не более часа:

– Подъезжаем к Москве.

Глава 8

Еще одно горькое разочарование и отъезд из Москвы

Как только мы вышли из вагона, целая орда служащих всевозможных гостиниц – в куртках или ливреях, в кепи или шапках, с обозначением названия своих заведений – стала зазывать нас, предлагая кареты, коляски и т. д. Впереди шел Ананда, как бы высматривая кого-то; посередине шли мы с Флорентийцем, сзади Иллофиллион. Завершалось наше шествие носильщиками с чемоданами.

Зычные выкрики названий гостиниц, торг пассажиров со стаей извозчиков в длинных синих поддевах, с кнутами в руках, накидывавшихся десятками на одного пассажира, – все это было так забавно, что я снова забыл обо всем, увлекся наблюдениями и готов был, смеясь, остановиться. Флорентиец слегка подтолкнул меня, я перестал таращить глаза по сторонам и увидел, что из толпы гостиничных слуг отделился один, с надписью на кепи «Националь», и приветствовал Ананду, весьма почтительно держа руку у козырька. Через несколько минут мы уселись в отличное ландо и покатили в центр города.

Я давно не видел Москвы, и по сравнению с Петербургом она показалась мне грязным, провинциальным городом с незначительным движением. Улицы, по которым мы ехали – узкие, искривленные, с низенькими домами, часто деревянными, со множеством церквей, церквушек и часовен, с перезвоном колоколов, несшимся со всех сторон, – производили впечатление патриархальности. Глядя на эти церкви, я невольно подумал, что русский народ, должно быть, очень религиозен. Я спрашивал себя, могут ли русские дойти до глубокого фанатизма, подобно магометанам, которые слишком рьяно служат своему Богу. Я стал думать о себе самом: что для меня Бог и как живу я с Ним и в Нем? Мешает ли мне моя религия или помогает? Посещая церковь раз в неделю со всей гимназией, я видел в этом лишь развлечение в нашей монотонной жизни; и ни разу не пробовал искать в Боге облегчение, не докучал Ему своими жалобами, а стоял в церкви и просто наблюдал.

Мы ехали молча, изредка перекидываясь незначительными замечаниями; но я инстинктивно чувствовал, что всех тревожит мысль о судьбе моего брата и Наль. Войдя в вестибюль гостиницы, мы взяли номера, как условились раньше. Флорентиец спросил, нет ли почты на имя лорда Бенедикта, и – к моему удивлению – очень важный и осанистый портье подал ему две телеграммы и два письма.

– Письма ждут вашу светлость уже два дня; а телеграммы – одна ночная, другая сию минуту подана, – почтительно прибавил он.

Водворившись в номере, я едва дождался, пока коридорный перестанет возиться с нашими вещами и выйдет. Я бросился к Флорентийцу, спрашивая, не от брата ли письмо, мне показалось, что я узнал его почерк на одном из конвертов. Он, улыбаясь, подивился, что я – всегда такой рассеянный – смог издали узнать почерк того, кого люблю. Видя мое нетерпение, он взял письмо брата, подал его мне и сказал:

– Когда Али говорил с тобой в саду, он предупредил тебя, что жизнь брата, твоя и Наль зависят от твоего мужества, выдержки и верности. Читая теперь письмо, думай не о себе, а только о том, как ты можешь ему помочь.

Сердце мое сжалось. Предчувствие подсказало, что сегодня я брата не увижу, а я так на это надеялся. Я прочел письмо, еще раз перечитал его и все никак не мог собраться с мыслями и прийти к какому-либо выводу. Брат писал, что уехать из К. им удалось незамеченными; слуги были переодеты восточными женщинами, Наль ехала в европейском костюме, который приготовил ей Али, а сам брат был в штатской одежде. Причем все они сели в разные вагоны и только в Москве, переодевшись в дороге еще раз, сошлись все вместе. В Москве вся компания благополучно пересела в петербургский поезд, поскольку друзья предупредили их, что

пароход в Лондон отходит в воскресенье; поэтому времени на остановку и свидание в Москве не оставалось.

Николай писал, что посылает мне свою любовь и просит простить его за беспокойства и огорчения, которые он доставил мне вместо отдыха. Он просил Флорентийца не оставлять меня, если я не успею на тот же пароход. «Успею на пароход», – несколько раз печально и горько повторял я мысленно.

– Воскресенье – это сегодня, – наконец сказал я Флорентийцу. Против моей воли я таким тоном выговорил эту фразу, точно вернулся с похорон и объявлял ему об этом.

– Да, это сегодня. Им удалось проскочить благодаря тому, что друзья Ананды и Али отвлекли внимание главарей-фанатиков и пустили погоню по ложному следу, – ответил он. – Но вот письмо Али и две его телеграммы. За нами следом идет погоня. Мулла и главари решили, что ты, конечно же, последуешь за братом. И по твоим следам велено отыскать его, пусть даже на краю света. Если же будет возможность, захватить тебя и, рассчитывая на твою молодость, запугать всяческими угрозами и вызнать все, что им нужно.

– Значит, будь такая возможность, – я все равно не смог бы поехать с Николаем. В таком случае не стоит об этом и думать, – сказал я, стараясь стряхнуть с себя все иные мысли, кроме мысли о жизни и безопасности брата. – Что же теперь мы, а в частности я, будем делать? С вами мне всюду хорошо. Теперь вся жизнь моя в вас одном, вы спасете брата, я в этом уверен. Располагайте мною так, как найдете нужным для дела. Повторяю, сейчас для меня в жизни – вы все.

– Ты – настоящий брат-сын своего брата-отца. Поверь, за эту минуту героизма ты будешь вознагражден большим счастьем. Кто умеет действовать, забывая о себе, тот побеждает, – ответил мне Флорентиец, ласково меня обняв. – Али предупредил в письме, что сообщит дополнительно, будет ли за нами погоня. Первая телеграмма подтверждает это, во второй говорится, кто идет по нашему следу. Это два молодых купца, которые едут в Москву будто бы за товаром; один, помимо своего родного языка, говорит по-русски; другой знает немецкий и английский. Али пишет, что оба они – приятели жениха Наль. Можно представить, что они намереваются делать и как. Вещи, переданные тебе для Наль, – это не обиходные вещи, их надо непременно переправить ей и как можно скорее. Предлагаю тебе вот какой план. Вещи Наль я отвезу сам; сегодня же сяду в курьерский поезд, идущий в Париж, оттуда проеду в Лондон и буду там раньше их. Тебе же следует немедленно, уже через два часа, вместе с Эвклидом выехать в Севастополь, а оттуда морем добраться до Константинополя и дальше пробираться в Индию, в имение Али. Ананде собираюсь предложить оставаться здесь целый месяц под предлогом дел, держать связь со всеми нами и наблюдать за действиями врагов. Я буду полезен и даже нужен твоему брату и Наль, которые могут оказаться беспомощными без опытного друга в первое время, в совершенно новых для них условиях. Да и в смерти брата твоего надо всех уверить, чтобы раз и навсегда покончить с преследованием. Через три-четыре месяца и я приеду в Индию. Я думаю устроить наших беглецов в Париже, когда все образуется.

Я молча слушал. Не то чтобы во мне все окаменело. Нет, я переживал нечто похожее на то, что должны ощущать люди, когда внезапно умирают их любимые. Я точно стоял у глубокой могилы и видел в ней гроб.

Я машинально встал, открыл чемодан, где находились вещи Наль, и стал вынимать оттуда свои, каждая из них резала меня точно ножом.

– Вы, вероятно, не захотите нарушать порядок, в каком были уложены вещи. Вот эти деньги мне подарил Али-молодой. Они мне не нужны, так как для той далекой поездки, в которую вы меня посылаете, они не годятся, да и мало их. Пусть это будет мой подарок брату. Купите в Париже прекрасный футляр в виде золотой или серебряной коробки, на какую хватит денег, и вложите в нее вот эту записную книжку его, которую я так непростительно забыл в доме Али, – говорил я Флорентийцу, подавая ему чудесную книжку брата с павлином. – Я

готов. Но разрешите мне сопровождать Иллофиллиона в качестве его слуги, чтобы я мог сам зарабатывать тот кусок хлеба, который до сегодняшнего дня получал из рук моего брата, – продолжал я.

– Мой милый мальчик, – сказал мне на это Флорентиец, – когда ты приедешь в Индию, ты станешь учиться. Ты многое узнаешь и поймешь. Пока же доверься мне. Будь не слугой, а другом Эвклиду. Твой талант к математике и музыке еще не все, чем ты обладаешь. Разве ты не чувствуешь в себе писательского дара?

Я покраснел до пота на лице. Я никогда бы не поверил, что самое заветное, от всех сокрытое мое желание – и то он сможет подсмотреть.

Но времени на дальнейшие разговоры не оставалось. Вошли Ананда и Иллофиллион, и Флорентиец поведал им свой новый план. Меня очень удивило, что ни один из них не возразил ни словом; оба приняли его распоряжения, как не подлежащие даже обсуждению. Ананда позвонил и велел заказать сейчас же два билета в Севастополь и отвезти двоих человек к поезду; а в номер нам подать завтрак.

– И на вечерний поезд в Париж купите один билет, – прибавил он.

Мы уложили мои вещи во вместительный саквояж Флорентийца, который он мне подарил.

– Там ты найдешь мой сюрприз, – смеясь, сказал он мне. – Как только почувствуешь могильное настроение, – так и поищи его. Вот последний мой завет тебе: помни, что радость непобедимая сила, тогда как уныние и отрицание погубят все, за что бы ты ни взялся.

Тут принесли наш завтрак; явился портье, говоря, что у него остались на руках два билета в Севастополь в международном вагоне, которые он собирался отослать в кассу вокзала в ту минуту, когда пришел наш заказ. Билеты взяли, вещи отдали слуге; и мы сели завтракать. Через полчаса мы с Иллофиллионом должны были ехать на вокзал.

Как я ни боролся с собой, но есть я ничего не мог, хотя с вечера ничего не ел. Сердце мое разрывалось. Я так привязался к Флорентийцу, что будто второго брата-отца хоронил, расставаясь с ним сейчас. Все старались сделать вид, что не замечают моей печали. Я думал, – откуда у этих людей столько самоотверженности и самообладания? Почему они так уравновешенны, стремительно идя на помощь чужому им человеку, моему брату; в чем находят они ось своей жизни, основу для своего уверенного спокойствия? И снова пронизала сердце мысль – кто человеку «свой», кто ему «чужой»? Мелькали в памяти слова Флорентийца, что кровь у всех людей одинаково красная и потому все братья, всем следует нести красоту, мир и помощь.

В кружении мыслей я не заметил, как кончился завтрак. Флорентиец погладил меня по голове и сказал:

– Живи, Левушка, радуясь, что жив твой брат, что ты сам здоров и можешь мыслить. Мыслетворчество – это единственное счастье людей. Кто вносит творчество в свой обыденный день – тот помогает жить всем людям. Побеждай любя – и ты победишь все. Не тоскуй обо мне. Я навсегда твой друг и брат. Своей героической любовью к брату ты проложил дорогу не только к моему сердцу, но вот еще твоих два верных друга, Ананда и Эвклид.

Я поднял глаза на него, но слез сдержать не смог. Я бросился ему на шею, он поднял меня на руки, как дитя, и шепнул:

– Уроки жизни никому не легки. Но первое правило для тех, кто хочет победить, – на глазах у людей уметь улыбаться беззаботно, даже если в сердце сидит игла. Мы увидимся, а вести обо мне будет посылать тебе Ананда.

Он опустил меня на пол, весело ответив на стук в дверь. Это портье пришел сообщить, что пора ехать на вокзал.

Мы с Иллофиллионом простились сердечным пожатием рук с Флорентийцем и Анандой, спустились за портье вниз, сели в коляску и двинулись на вокзал. Мы ехали молча, не обменявшись ни словом. Только раз, при досадной задержке из-за какого-то уличного происшествия,

Иллофиллион спросил кучера, не опоздаем ли мы на поезд. Тот погнал лошадей, но все же мы едва успели к отправлению поезда.

Глава 9

Мы едем в Севастополь

Я столько провел времени в вагоне и чувствовал такое сильное головокружение, что вынужден был лечь. Иллофиллион достал из своего саквояжа пузырек с каплями, накапал в стакан с водой несколько капель и подал мне, говоря:

– Когда я был болен, Ананда всегда давал мне эти капли.

Я выпил лекарство, мне стало лучше, и я незаметно для себя заснул.

Когда я проснулся, Иллофиллион стоял, смеясь, надо мной и говорил, что уже собирался брызгать мне в лицо водой, так я долго спал, а он умирает от голода. На самом деле было уже семь часов вечера, и надо было поторапливаться. Я быстро привел себя в порядок, проводник запер наше купе, и мы отправились в вагон-ресторан.

Здесь публика была совсем иная, чем в поезде, шедшем к далекой окраине Азии. Курьерский поезд по недавно проложенной линии мчал в Севастополь богатую публику, направляющуюся на модные курорты: Ялту, Гурзуф, Алупку и другие. В вагоне-ресторане все уже сидели на своих местах. Лакей, посмотрев наши обеденные билетики, провел нас к столику, за которым сидели две дамы. Я сконфузился, ведь я совсем не привык к дамскому обществу, но посмотрев на Иллофиллиона, был очень удивлен, потому что он вел себя так, как будто всю жизнь только и делал, что ухаживал за дамами. Он снял свою шляпу, вежливо поклонился старшей даме и сказал по-французски:

– Разрешите нам сесть за ваш стол?

Дама приветливо улыбнулась, ответила на поклон и сказала довольно низким приятным голосом: «Прошу вас», на прекрасном французском языке.

Иллофиллион взял наши шляпы, положил их в сетку над столиком и пропустил меня к окну, заняв крайнее место у прохода. Я чувствовал себя очень неловко, старался смотреть в окно, но все же исподтишка разглядывал соседок. Старшая дама, далеко еще не старая, была красиво и элегантно одета. У нее были темные волосы; ее темные глаза, несколько выпуклые, были, вероятно, близоруки. Она была полновата и, судя по ее белым холеным рукам, никогда не работала, да и вряд ли играла на рояле, ведь от постоянных ударов по клавишам кончики пальцев расширяются и кожа на них грубеет. Ее же руки были просто руками барыни. Лицо ее не светилось ни умом, ни вдохновением. Я посмотрел на ее зубы и губы, – все в ней показалось мне банально красивым, но грубой, чисто физической красотой. И она перестала возбуждать во мне какой бы то ни было интерес.

Тут подали мясной суп. Иллофиллион сказал лакею, что заказывал специальный вегетарианский обед. Лакей извинился и отправился за объяснением к метрдотелю. Это недоразумение послужило старшей даме поводом для разговора с Иллофиллионом, который, как мне показалось, произвел на нее большое впечатление. Пока старшие сотрапезники занимались обсуждением пользы и вреда вегетарианства, я перенес свое внимание на другую нашу соседку. Это была совсем молоденькая девушка, почти девочка. На вид ей было не более 15 лет. Она была светлой блондинкой, с волосами такого же золотистого оттенка, как у моего брата, и уже одним этим сходством она завоевала мои симпатии. Я невольно поглядывал на нее, пользуясь тем, что она сидела с опущенными глазами. Личико у нее было худое, черты правильные, лоб высокий с бугорками над бровями. «Очень музыкальна», – подумал я.

Девушка, должно быть, в первый раз обедала в вагоне-ресторане. Она прилагала все усилия, чтобы не расплескать суп с ложки, но это ей удавалось плохо. Заметив, что я бестактно уставился на девушку, Иллофиллион задал мне какой-то вопрос, желая вовлечь меня в общий разговор и освободить от моих взглядов и без того сконфуженную соседку. Он выразительно на меня посмотрел, и я понял, что в моем поведении что-то не соответствовало поведению

хорошо воспитанного человека. Оказалось, старшая дама просила меня передать ей горчицу, а я не слышал ее слов. Иллофиллион повторил просьбу, я совсем сконфузился, подал ей горчицу, извинился на французском же языке, вспомнив одно из наставлений брата, что хорошо воспитанные люди должны отвечать на том же языке, на каком к ним обратились.

Сумбурные мысли о том, как трудно быть хорошо воспитанным человеком, сколько для этого надо знать условностей и в них ли сила хорошего воспитания, промчались не в первый раз в моей голове. Иллофиллион извинился за мою рассеянность, говоря, что я перенес тяжелую болезнь и еще не успел окончательно поправиться. Дама сочувственно кивала головой, приняв меня за сына Иллофиллиона, чему я посмеялся, а Иллофиллион объяснил, что я ему друг и дальний родственник.

Я хотел спросить, не дочь ли ей молоденькая барышня, но в это время она сама сказала, что везет свою племянницу в Гурзуф, где у ее сестры, матери Лизы, дача возле самого моря. Лиза все молчала и не поднимала глаз; а тетка рассказывала, что Лиза только что окончила гимназию, очень утомлена экзаменами и должна отдохнуть в тишине.

– Лиза у нас талант, – продолжала она, – у нее огромные способности к музыке и очень хороший голос. Она учится у лучших профессоров Москвы; но отец ее против профессионального музыкального образования, что и составляет Лизину драму. Тут произошло нечто необычайное. Лиза вдруг внезапно подняла глаза, оглядела всех нас и твердо посмотрела на Иллофиллиона.

– Вы не верьте ни одному слову моей тетки. Она ни в чем не отдает себе отчета и готова выболтать каждому встречному всю подноготную, – сказала она дрожащим тихим, но таким певучим и металлическим голосом, что я сразу понял, что она, должно быть, чудесно поет.

На щеках Лизы горели пятна, в глазах стояли слезы. Она, видимо, ненавидела тетку и страдала от ее характера. Иллофиллион мгновенно налил капель в воду из своего пузырька и подал ей, сказав почти шепотом, но так повелительно, что девушка мгновенно повиновалась:

– Выпейте, это сейчас же вас успокоит.

Через несколько минут девушка действительно успокоилась. Красные пятна на щеках исчезли, она улыбнулась мне и спросила, куда я еду. Я ответил, что еду пока в Севастополь, какой маршрут будет дальше, еще не знаю. Лиза удивилась и сказала, что думала, что мы едем в Феодосию или Алушту, ибо греки большей частью живут там.

– Греки? – спросил я с невероятным изумлением. – При чем же здесь греки?

Лиза в свою очередь широко раскрыла свои большие серые глаза и сказала, что ведь мой родственник такой типичный грек, что с него можно лепить греческую статую. Мы с Иллофиллионом весело рассмеялись, а тетка, кисло усмехаясь, сказала, что Лиза, как и все музыкально одаренные люди, неуравновешенна и слишком большая фантазерка. Иллофиллион стал спорить с нею, доказывая, что люди одаренные вовсе не нервноболезные, а наоборот, они только тогда и могут творить, когда найдут в себе столько мужества и верности любимому искусству, что забывают о себе, о своих нервах и личном тщеславии, а в полном спокойствии и самообладании радостно несут свой талант окружающим. Тетка заявила, что для нее это слишком высокие материи, а Лиза вся превратилась в слух, глаза ее загорелись, и она сказала Иллофиллиону:

– Как я много поняла сейчас из ваших слов. Я точно сама себе все это не раз говорила, так мне ясны и близки ваши слова.

Видно было, что ей о многом хотелось спросить, чего нельзя было сказать о тетке. Такая любезная и кокетливо поглядывавшая на Иллофиллиона в начале обеда, – сейчас она едва скрывала скуку и досаду.

– Вот вам бы с моей сестрой познакомиться. Она вечно летает в заоблачных высотах и, кроме своих цветов, музыки и книг, ничего в жизни не видит и не замечает. Даже того, что делается под самым ее носом, – несколько тише и более ядовито прибавила она.

Лицо ее отвратительно исказилось от зависти и ревности, очевидно уже давно разъедавших ее сердце. Лицо Лизы стало так бледно, что побелели даже ее розовые губы. Я испугался и быстро протянул ей стакан с водой. Но она не заметила моего движения; ее потемневшие глаза сразу провалились, под ними легли темные тени, и от девушки-ребенка не осталось и следа. Глядя прямо в глаза тетке ненавидящим взглядом, она сказала тихо и раздельно:

– Можно делать подлости, если есть вкус к ним. Можно быть и глупым, раз уж в мозгу чего-то недостает; но чтобы так выдавать себя первому встречному, – для этого надо быть более чем просто глупой. Вы отравили маме ее молодость, а мне – детство. Вы всю жизнь пытались встать между папой и нами. Вам это не удалось, потому что папа честный человек и любит нас с мамой. Неужели же мамину и мою деликатность и сострадание к вам вы принимали за нашу близорукость или глупость? Я бы и сейчас промолчала, если бы ваша наглость не была так возмутительна.

Трудно передать, что произошло с теткой. От всей ее чувственной красоты, от внешнего барского лоска ничего не осталось. Перед нами сидела вмиг постаревшая женщина, не умевшая сдерживать бешенства и тихо выплевывавшая ругательства:

– Девчонка, дура, подлая шпионка, дрянь, – я тебе отплачу. Я все расскажу дедушке и отцу.

Девушка с мольбой взглянула на Иллофиллиона. На наш стол, несмотря на грохот колес и шум вентиляторов, кое-кто уже стал обращать внимание. Иллофиллион подозвал лакея, заплатил за всех и за всех же отказался от кофе. Он встал, достал наши шляпы и, твердо взглянув на тетку, сказал ей очень тихо, но повелительно:

– Встаньте, дайте пройти вашей племяннице. Поезд сейчас остановится, мы пройдем с ней по перрону. Вы же ступайте в ваше купе через вагоны. Придите в себя, вы потеряли всякий человеческий облик. Постарайтесь скрыть под улыбкой свое бешенство. Говоря так, он стоял, склонившись к ней в вежливой позе, подавая упавшие сумочку и перчатки. Ни слова не говоря, она встала и прошла мимо столиков к выходу, не дожидаясь нас.

Иллофиллион помог Лизе выйти из-за тесно поставленных стульев, прошел вперед, открыл дверь и пропустил вперед девушку. Выйдя вслед за ними из вагона, я немного отстал; мне хотелось побыть одному, чтобы разобраться в этой чужой жизни, завеса которой приподнялась передо мной так внезапно и безобразно. Но Иллофиллион остановился, подождал, пока я подойду, и сказал мне:

– Не отставайте от меня ни на шаг, друг. Какие бы драмы или приятные развлечения ни встретились нам в пути, мы не должны забывать нашей главной цели.

Он взял меня под руку, и мы втроем стали прогуливаться по платформе, войдя в вагон уже после второго звонка. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что тетка Лизы стоит в коридоре нашего вагона и весело флиртует с каким-то не особенно старым генералом. Оказалось, что купе наших соседок по столу было через два отделения от нас.

Как ни в чем не бывало тетка обратилась к нам, сказав, что уже стала беспокоиться, не похитили ли мы ее племянницу. Иллофиллион, в тон ей, отвечал, что ни он, ни я на людей, занимающихся романтическими похождениями, как будто бы не похожи, но что мы очень польщены, конечно, если, по ее мнению, имеем вид донжуанов. Очень корректно раскланявшись с соседкой по столу и ее племянницей – причем я тоже старался щегольнуть элегантностью манер, – мы вошли в свое купе. Иллофиллион сказал Лизе, что книгу, которую он ей обещал, пришлет с проводником.

Бедной девушке, очевидно, было жутко расставаться с нами. Ее личико, и без того худое, еще больше осунулось. Когда мы остались одни, я хотел было поговорить о наших новых знакомых, но Иллофиллион сказал мне:

– Не стоит сейчас об этом. Нам с тобой, повидавшим в жизни немало скорби, надо хорошенько думать о каждом своем слове. Нет таких слов, которые может безнаказанно выбрасы-

вать в мир человек. Вся жизнь – вечное движение; и это движение творят мысли человека. Слово – не простое сочетание букв. Даже если человек не знает ничего о тех силах, что носит в себе, и не думает, какие вулканы страстей и зла можно сотворить и пробудить неосторожно брошенным словом, – даже тогда нет безнаказанно брошенных в мир слов. Берегись пересудов не только на словах; но даже в мыслях старайся всегда найти оправдание людям и пролить в их душу мир, хотя бы на одну ту минуту, когда ты с ними. Подумаем лучше, что сейчас делают наши друзья. Флорентиец, по всей вероятности, садится в поезд, идущий в Париж, а Ананда его провожает.

Иллофиллион точно унесся в далекую Москву, и взгляд его стал отсутствующим. Сам он, опершись головой о спинку дивана, сидел неподвижно; и я подумал, что у каждого человека, очевидно, своя манера спать, а я как-то не присматривался до сих пор к тому, как спят люди. Флорентиец спал, точно мертвый, Иллофиллион спал сидя, с открытыми глазами, но сон его был так же крепок, как сон Флорентийца. Думая, что будить Иллофиллиона и нельзя, и бесполезно, я тоже перенесся мыслями в Москву.

Теперь, расставшись впервые за эти дни с Флорентийцем, к которому я так привязался всем сердцем, я почувствовал всю глубину удара, который нанесла мне жизнь этой разлукой. С самого рождения и до разлуки с братом я видел на своем пути один свет, один родной дом, одного неизменного друга: брата Николая. Теперь я разлучен с братом, – погас мой свет, рухнул мой дом, исчез мой друг. Рядом с Флорентийцем, несмотря на все тревоги, полное отсутствие какого-либо дома, непрерывные опасности и неутрачиваемые страдания о брате, я чувствовал и сознавал, что в нем для меня – и свет, и дом, и друг. Чувство полной защищенности, мира в сердце, даже когда я плакал или раздражался, не покидало меня где-то в глубине. Я был уверен, каждую минуту уверен, что в лице Флорентийца я не только имею «дом», но что в этом доме смогу жить, учась и совершенствуясь, чтобы стать достойным своего друга.

Сейчас, думая о том, что Флорентиец уезжает в Париж, а я еду на Восток, – пусть в другие места, но все же на тот Восток, знакомство с которым мне принесло так много горя, – я осознал, как я бездомен, одинок и брошен судьбою в вихрь страстей. Я могу быть лишь игрушкой обстоятельств, потому что не только ничего не видел и не знаю, но даже не сумел себя толком воспитать и приготовить к жизни. Ни одна струна в моем организме не была настроена так, чтобы я мог на нее положиться. При всяком сердечном ударе я плакал и терялся, словно ребенок. Хоть брат и научил меня верховой езде, все же тело мое было слабо, не закалено гимнастикой, и чрезмерное напряжение доводило меня до изнеможения и обмороков. Что же касается силы самообладания и выдержки, точности и четкости в мыслях и во внимании, – то тут дисциплины во мне было еще меньше.

Я смотрел в окно, за которым уже сгущались сумерки. Природа находилась в полном расцвете своих сил. Мелькали зеленые луга, колосющиеся поля, живописные деревушки. Все говорило о яркой жизни! Кому-то были близки и дороги все эти поля, сады и огороды. Целыми семьями работали на них люди, находя кроме любви к своей семье и общую любовь к этой земле, к ее красотам, к ее творчеству. А я один, один – всюду и везде один! И во всем мире нет ни угла, ни сердца, про которое я знал бы – вот «мое» пристанище.

Погруженный в свои горькие мысли, я забыл об Иллофиллионе; забыл, где я, унесся в сказочный мир мечтаний, стал думать, как буду стремиться стать достойным другом Флорентийца, таким же сильным, добрым и всегда владеющим собой. Невольно мысль моя перебралась на его друзей – Иллофиллиона и Ананду. Их поступки, полные самоотречения – ведь они бросили все по первому зову Флорентийца и едут помогать Николаю и мне, людям им совершенно чужим, – очаровывали меня высотой благородства.

Внезапно в коридоре послышался сильный шум и женский крик: «Доктора, доктора!». Оторванный от своих грез, я резко вскочил, чтобы броситься на помощь, зацепился ногой за

чемодан, который стоял у столика, и упал бы со всего размаха прямо на пол, лицом вниз, если бы меня не схватили сзади за плечи сильные руки Иллофиллиона.

– Нос разобьешь, Левушка, – уморительно копируя старушечье шамканье, сказал он. Это было так смешно и неожиданно, так не подходило к серьезной фигуре Иллофиллиона, что я расхохотался, забыв, куда и зачем бежал.

– Подожди здесь, друг, – проговорил он уже своим обычным голосом. – Я пойду с моими каплями. Узнаю истеричный голос нашей старшей соседки по столу. Быть может, я там задержусь, но ты все же не выходи из купе, если я не приду за тобой. Все время помни о нашей главной цели. Флорентиец уже уехал в Париж, поезд должен был отойти минут десять назад, судя по времени, – сказал он, посмотрев на часы. – Ведь Флорентиец отправился в путь ради тебя и твоего брата. Я еду ради тебя и для него. Ананда живет в Москве тоже ради вас обоих. Как же ты можешь считать себя одиноким и бездомным?

В эту минуту кто-то постучал в наше купе. Иллофиллион ласково поцеловал меня в лоб и открыл дверь.

У порога стоял давешний генерал, с которым флиртowała тетка, и еще какой-то молодой человек. Генерал извинялся за беспокойство и просил доктора – принимая Иллофиллиона за такового, – помочь молодой девушке, упавшей в обморок в соседнем купе; никто не может привести ее в чувство, хотя ее тетка уже более часа употребляет к этому все обычные средства. Иллофиллион только спросил, почему же раньше к нему не обратились, – захватил походную аптечку из того саквояжа, который вручил мне Флорентиец, и ушел вместе с двумя постучавшимися к нам пассажирами.

Я выглянул в коридор, куда высыпали мужчины и дамы из всех купе. Они представляли довольно-таки смешную картину. У каждого было растеряннo-вопросительное лицо и в руках какой-либо флакон. Очевидно, прежде чем вспомнить о докторе, все они помогали злосчастной даме привести в чувство ее племянницу. Я закрыл дверь, убрал в сетку чемодан, о который так неловко споткнулся, и стал думать о девушке, с которой случился такой глубокий обморок. Я вспомнил ее худенькое личико и тоненькую, почти детскую фигурку. Казалось, что здоровьем она столь же некрепка, как и я; и так же невыдержанна и плохо воспитана, – в смысле самообладания.

«Вот, – думал я, – у нее есть и мать, и отец; есть дом, и даже два, потому что она едет на свою дачу к морю. А жизнь ее вряд ли веселее моей, если приходится жить и ездить с теткой, которую ненавидишь».

Я старался нарисовать себе картину дома, быта и всей внутренней жизни девушки. Мне хотелось понять, каким же образом ребенок в родительском доме мог дойти до такой глубокой сердечной боли. Как, изо дня в день, ее должна была угнетать атмосфера, в которой жили ее родители, если Лиза могла обнажить душу перед чужими людьми, как это случилось с ней сегодня. Я сравнивал ее с собой и всем сердцем искал оправдания ее поступку, памятуя, что недавно сказал мне Иллофиллион. Мне припомнились мои слезы за последние дни; как горько я плакал – и тоже перед чужими мне людьми, я – мужчина, старше ее на добрые пять лет. И звучавший лейтмотивом этих дней вопрос «Кто тебе свой? Кто чужой?», назойливо возвращающийся ко мне, отвел мои мысли от девушки...

Через некоторое время я снова вернулся мыслями к ней. Нравилась ли мне Лиза? За все мои двадцать лет я еще ни разу не был влюблен. Я так был занят, у меня было такое множество уроков, сочинений, книг, которые я к ним должен был прочесть. Да и брат в своих письмах присылал мне целые программы; перечень музеев и галерей, которые я должен был повидать, – все это заполняло мою голову, я всегда был занят. Знакомств же, кроме старой тетки, у меня не было никаких. А в ее доме я встречал только старых важных дам, каждая из которых учила меня внешним манерам, давая целовать свои сморщенные и надушенные руки и совсем не интересуясь духовной жизнью замухрышки, которым я, несомненно, был в их представлениях.

Все их разговоры были о высшем свете; на каком балу у графини С. они были и к каким князьям В. пойдут завтра.

Никогда мне не доводилось даже сидеть за одним столом с девушками, тем более танцевать с ними. Лиза была первой девушкой обычной, простой жизни, с которой я просидел около часа за одним столом. А Наль являла собой какую-то высшую красоту, принадлежа к высшей, необычной жизни. И с обеими я не просто общался как с добрыми знакомыми, а невольно подсмотрел у той и другой маленький уголок их духовной, скрытой от всех, жизни.

«Лиза упрекала тетку в том, что первому встречному она готова поведать о своих делах. А разве сама она не выдала гораздо больше того, что раскрыла тетка?» – вертелось в моей голове колесо мыслей.

Теплое чувство к Лизе и острое желание помочь ей чем-нибудь, принять участие в ее судьбе, шевельнулись во мне.

Должно быть, прошло немало времени, пока я занимался этими психологическими наблюдениями. За окном была темная ночь, в коридоре горела зажженная проводником свечка, но в купе было довольно темно. Я встал, намереваясь выглянуть, как в дверь внезапно постучали, и я увидел Иллофиллиона, ввопившего в наше купе Лизу, которая, очевидно, не могла сама идти; за ними шла тетка с пледом в руках.

– Левушка, у Лизы был сильный сердечный приступ. Пока ей приготовят постель, ей надо полежать у нас, сидеть она не может, – сказал Иллофиллион, укладывая девушку на диван.

Я хотел выйти в коридор, но он дал мне хрустальный флакон и велел каждые пять минут подносить к носу Лизы. Я присел на чемодан у ее изголовья и стал выполнять свою миссию лекарского подмастерья. Тетке Лизы Иллофиллион указал место у столика, взял у нее плед, накрыл им девушку и сел у ее ног.

Несколько минут царило полное молчание. Тетку я не видел, ибо, занятый своей миссией, сидел к ней спиной. Пользуясь полубомбочным состоянием Лизы, я внимательно ее разглядывал. Бесспорно, это была красивая девушка. Но меня крайне поразило, что одна щека ее была восковой бледности, а другая не только пылала, но багровость ее переходила в большой синяк, что отчетливо стало видно теперь, когда Иллофиллион достал складной подсвечник, зажег в нем свечу и поставил на столик.

– О чем теперь вы плачете? – услышал я вдруг голос Иллофиллиона.

Я оглянулся и увидел, что лицо тетки все залито слезами; нос, губы, щеки – все распухло, и вид ее был до отвращения безобразен.

– Не о девчонке плачу, а о своей судьбе. Что теперь будет со мной? Она станет всех уверять, что это я ее толкнула. А на самом деле сама ушиблась... – отвечала злым голосом тетка сквозь всхлипывания.

Я взглянул на Иллофиллиона и поразился грозному выражению его лица. Он так пристально смотрел на плачущую, что сразу напомнил мне Али. Никогда бы не поверил, что у неизменно ровного, большей частью светящегося доброжелательством Иллофиллиона может быть такое грозное лицо, такие суровые глаза.

– Вам лучше всего не лгать. Я так же хорошо знаю, как и вы, что это вы ее ударили, не рассчитав своей силы; и я могу вам показать отпечаток вашей ладони на ее щеке. Если бы вы ударили чуть выше, – вы бы убили ее, – проговорил звенящим голосом Иллофиллион.

Всхлипывания прекратились, и в тишине раздался свистящий от бешенства голос тетки:

– Возможно, что вы и доктор. Но вряд ли вообще понимаете, что сейчас говорите. Я, слабая женщина, могла так ударить девчонку, чтобы свалить ее в обморок? Говорю вам, она сама свалилась, и у меня не было силы ее поднять.

– И поэтому вы исщипали ей всю грудь и руку, – сказал Иллофиллион. – Но поскольку вы отрицаете, что избили ее, – мне придется сделать фотографический снимок на чувствительной пластинке и передать его судебным властям, как только мы прибудем в Севастополь.

Воцарилось недолгое молчание, затем тетка прошипела:

– Сколько возьмете за свое молчание?

Иллофиллион рассмеялся, я тоже не мог удержаться от смеха и закричал:

– Да это целый роман!

Вероятно, мой смех особенно разозлил выглядевшую сейчас такой старой и безобразной даму. Когда я на нее взглянул, – точно змея меня укусила, так злы были ее глаза.

– Я совестью не торгую и взятки ни за какие услуги не беру. Девушке вы нанесли и моральный и физический вред. За моральный удар вы ответите самой жизни; он не останется безнаказанным и вернется к вам с той стороны, откуда вы его никак не ожидаете. От вашего собственного ребенка вы получите такую же пощечину. А за удар физический вы ответите судебной власти и понесете заслуженное наказание, – говорил Иллофиллион, доставая из сак-вояжа футляр с фотографическим аппаратом.

– Пожалейте меня. Не знаю, зачем эта злая девчонка рассказала вам о моем сыне. Это мое единственное сокровище. Умоляю вас, не губите меня. Я впервые в жизни ударила ее за то, что она выдала меня перед вами. Пожалейте несчастную мать, – бормотала она прерывающимся голосом.

– Почему же вы не пожалели единственного ребенка своей сестры – женщины, несчастье которой вы составляете до сих пор? – продолжал Иллофиллион, все так же сурово глядя на нее.

– Вы еще слишком молоды. Вы не знаете бедности. Вы не можете ни понять, ни судить меня, – жалобно говорила женщина. – Но если вы не выдадите меня родителям Лизы, клянусь жизнью своего сына, что пальцем не трону больше девчонку.

– И будете продолжать есть хлеб вашей сестры, жить в ее доме, разыгрывать в нем хозяйку? О нет, вы слишком дорого цените благополучие вашего сына и слишком дешево – три жизни ваших родных. Только тогда я вас не выдам, если вы уедете из дома вашей сестры.

– Куда же я денусь? Вы так говорите, потому что не знали нужды и не понимаете жизни. Чем я буду жить? – раздраженно спросила женщина.

Вторично по лицу Иллофиллиона скользнуло нечто вроде усмешки, едва уловимой, так что я подумал, что, пожалуй, и в первый раз на его лице, как и сейчас, просто играл колеблющийся свет горящей свечи.

– Вы должны работать, – тихо сказал он.

– Работать? Оно и видно, что сами-то вы и гроша не заработали, просидели на шее папеньки с маменькой, как и ваш братец, и не понимаете, о чем тут болтаете, – злась и фыркая, говорила тетка Лизы.

– Я повторяю, – чрезвычайно спокойно, но с непоколебимой волей возразил Иллофиллион, – что единственное условие, при котором я согласен покрыть ваш грех и взять на себя таким образом часть вашего преступления, – это условие немедленного отъезда из дома вашей сестры и ваше устройство на работу. Вы должны сами зарабатывать себе на хлеб и научить тому же вашего сына.

– Я не кухарка и не гувернантка, чтобы зарабатывать себе на хлеб. Я барыня, слышите вы, ба-ры-ня! Была, есть и буду!

– Достаточно сейчас взглянуть на себя в зеркало, чтобы убедиться, что вы не барыня в том смысле, в каком должно понимать привилегии этого понятия – высокую культуру, самодисциплину и самообладание, – ответил Иллофиллион.

– Вы очень дерзки и самонадеянны. Я никуда не уеду и ничуть вас не боюсь, – закричала тетка.

– Ах, если бы вы понимали, что вам следует бояться только себя, вы сумели бы защитить сына от всех бед и вывели бы его в люди. И не был бы он, вслед за вами, приживальщиком, обещая стать негодным человеком. Вы боитесь лишиться сестринского крова, отравленного для нее вами. Но поймите же, я не угрожаю, не запугиваю вас, а только разоблачу вас перед

родными. И они не станут более терпеть вас у себя ни минуты, и вы останетесь на улице. Уйдете добровольно, я обещаю найти вам работу. Вы должны понять, что трудиться обязаны все, а вы – в особенности.

– Да не могу я быть гувернанткой! – снова закричала она.

– Никому не может прийти в голову допустить вас к детям. Помимо дурного характера, помимо эгоизма и злобы, которыми вы дышите, как кипящий котел, вы не имеете даже начального понятия о тактичности. А бестактный человек, даже добрый, так же вреден ребенку, как плохой зараженный воздух. Говоря о вашем устройстве на работу, я имел в виду дать вам письмо к своему другу в Москве. Он ведет большое литературное дело, и ему нужны переводчики. Платит он очень щедро. Кроме того, он, наверное, сможет выделить вам небольшую квартиру в своем доме. Пока вы не съели ни одного куса хлеба, заработанного своими руками и головой, – вы не можете понять счастья жить на земле. Его приносит только честный труд.

Женщина теперь молчала. Я несколько раз оглядывался на нее, и мне казалось, что слова Иллофиллиона действовали на нее успокаивающе. Глаза ее перестали источать ненависть, расстроенное и безобразное от злобы лицо постепенно становилось спокойнее; и даже какое-то благородство мелькнуло на нем, как сквозь серую пелену дождя пробивается бледный луч солнца.

Лиза все еще не приходила в себя. Иллофиллион встал, наклонился к девушке и откинул прядь волос с ее лица. Щека вздулась; видны были ссадины, огромный кровоподтек становился почти черным. Иллофиллион взял фотографический аппарат. Но в ту минуту, как он хотел его открыть, рука тетки коснулась его, и она едва слышно сказала:

– Я согласна.

Я был поражен. Сколько раз за эти короткие дни я был свидетелем того, как страсти, пьянство, безделье, фанатизм и зависть уродовали людей, разъединяли их и делали врагами. Как люди теряли человеческий облик и становились игрушкой собственного раздражения и бешенства. С горечью думал я, как же мало во мне самом самообладания и самодисциплины; и как я успокаивался от одного только присутствия брата, Флорентийца и моего нового друга Иллофиллиона.

Ни одного слова, – как оно ни было горько, – не произнес Иллофиллион повышенным тоном. Ни малейшего намека на презрение не прозвучало в его словах, напротив, все в нем являло самое глубокое доброжелательство. И злобные выкрики в его адрес, так оскорблявшие меня, что мне хотелось вмешаться в разговор и ответить ей тем же тоном, – не задевали спокойного благородства Иллофиллиона и его сострадания к этой женщине.

Иллофиллион посмотрел на нее. Должно быть, его взгляд затронул что-то лучшее в ее существе; она закрыла лицо руками и прошептала:

– Простите меня. У меня такой бешеный характер; я сама не понимаю иногда, что говорю и делаю. Но если я даю слово, – я его держу честно. И это, может быть, единственное мое достоинство, – сквозь снова полившие слезы проговорила она.

– Не плачьте. Отнеситесь в высшей степени серьезно ко всему, что с вами сейчас произошло. Благословляйте судьбу за то, что Лиза не ушиблась об острый угол стола. Если бы еще случилось и это, – вы были бы сейчас убийцей, – а что это значит, вы отлично понимаете, – ответил ей Иллофиллион.

Ужас изобразился на лице женщины, которая сейчас была так несчастна, что даже мое сердце смягчилось; и я старался подыскать ей оправдание, думая о том, как постепенно и незаметно для себя падает человек, если зависть и ревность сплетают сеть вокруг него изо дня в день.

– Не возвращайтесь мыслями к прошлому, – снова заговорил Иллофиллион. – Думайте о своем сыне, – нет ничего такого, чего бы не победила материнская любовь. Я залечу щеку Лизы, и через несколько часов от кровоподтека не останется и следа. Но вам придется проси-

деть возле нее до утра, меняя компрессы из той жидкости, что я вам дам. Примите эти подкрепляющие капли, – и бессонная ночь пройдет легко. К утру я приготовлю письмо к моему другу и дам вам денег, чтобы вы с этой минуты могли начать новую, самостоятельную жизнь и уехать с сыном, не одолживаясь более у родных. Когда станете хорошо зарабатывать, возвратите эти деньги своему хозяину и он перешлет их мне. Не впадайте в отчаяние, когда к вам будет возвращаться желание кричать: «Я барыня, барыня есть, была и буду», – а уединитесь и вспомните эту ночь. Вспомните, как я говорил вам, что за все то зло, которое вы выливаете из себя, вы получите стократное воздаяние от собственного сына. Но зато каждое мгновение вашей доброты, выдержки и самообладания будет строить мост к его счастью.

Должно быть, сердце несчастной женщины разрывалось от самых разнообразных чувств и силы почти изменяли ей. Иллофиллион велел мне наполнить стакан водой, влил туда каплю, и я подал ей лекарство. Тем временем, опять-таки из саквояжа, что дал мне Флорентиец, Иллофиллион достал флакон, стакан и попросил меня принести теплой воды. Когда я вернулся в купе, женщина уже пришла в себя и помогала Иллофиллиону поднять Лизу. Движения ее были осторожны, даже ласковы; а лицо, осунувшееся и постаревшее, выражало огромное горе и твердую решимость. Но это была уже совсем не та женщина, которая предстала мне в вагоне-ресторане, и не та, которую я видел, выходя из купе. Правда, я не сразу разыскал проводника, который стелил постели; не сразу достал и воду, которую пришлось остудить, но все же отсутствовал я всего минут двадцать, и за это короткое время человека было не узнать. Но уже столько всякого случилось за эти дни, и так я сам – всех больше – изменялся, что меня вовсе не поразила эта перемена, словно бы это было в порядке вещей.

Иллофиллион влил в рот Лизе снадобье, вдвоем они ее снова уложили, и через несколько минут Лиза открыла глаза. Сначала взгляд ее ничего не выражал. Потом, узнав Иллофиллиона, Лиза просияла радостью. Но увидев тетку, закричала, точно ее обожгли.

– Успокойтесь, друг, – обратился к ней Иллофиллион. – Никто вам больше зла не причинит. Сейчас вот приложу примочку, и к утру на вашем лице не останется никаких следов. Не смотрите с таким ужасом на свою тетю. Не думайте, что высшее благородство заключается в том, чтобы отгораживаться от тех, кого мы считаем злыми или даже своими врагами. Врага надо победить; но побеждают не пассивным уходом в сторону, а активной борьбой, героическим напряжением чувств и мыслей. Нельзя прожить одаренному человеку – тому, кто предназначен внести каплю своего творческого труда в труд всего человечества, – безмятежно, без бурь, страданий и борьбы с самим собою и окружающими. Вы входите теперь в жизнь. Если не сумеете сейчас найти в себе благородство и не выдать зло, причиненное вам тетей, – то не внесете в жизнь собственную того огромного капитала чести и сострадания, которые помогут вам создать себе и близким радостную жизнь. Не судите свою тетю так, как это сделал бы судья. Подумайте о скрытых в вас самой страстях. Вспомните, как часто вы горели ненавистью к ней и ее сынишке, хотя он-то уж никак неповинен ни в вашем горе, ни в ваших отношениях с тетушкой. Проверьте, сколько раз вы платили тете еще большей грубостью, как постоянно искали случая публично ее осрамить, мысленно «посадить на место». Но ни разу не мелькнуло в вас к ней доброе чувство, хотя к прочим вы добры, и очень добры.

Молодость чутка. Представить себе весь сложный ход вещей, всю силу человеческих страстей, расставляющих на каждом шагу капканы, – вы еще не в состоянии. Но понять, что сила человека не в злобе, а в доброте, в том благородстве, которое он с собой несет, – вы способны, потому что сердце ваше чисто и широко. Вы играете на скрипке и понимаете, – ибо вы талантливы, – что звуки, как и доброта, очаровывают и объединяют людей в красоте. Играя людям, чтобы звать их к прекрасному, вы не ведаете страха. Так же точно возвращайтесь сейчас к себе без страха и сомнений. Когда сердце истинно открыто красоте, оно не знает страха и поет дивную песнь – песнь торжествующей любви. Вы так юны и чисты, что никакой другой песни ваше сердце петь не может. Не думайте о прошлом; переживите это «сейчас» со всею

полнотой ваших лучших чувств, – и вы постройте вокруг себя прекрасную жизнь. Но ваше «завтра» будет засорено остатками желчи и горечи, которые вы вплетете в него, если сегодня вы не найдете сил раскрыть сердце в полной чистой любви, честно, без компромиссов. Ваша тетя покинет вас, как только довезет до дома. Она нашла себе место и будет жить с сыном в Москве. А вы ведь собираетесь переехать в Петербург...

Вам уже стало лучше. Левушка доведет вас до купе и даст вот эту микстуру, от которой вы отлично уснете и завтра будете хороши, как роза, – прибавил он, улыбаясь.

Лиза была очень удивлена. В голове ее – и это было ясно всем – происходила сумбурная работа; но слова Иллофиллиона не были брошены впустую.

– Я вас отлично понимаю. Как это ни странно, но мама часто говорит мне вещи, очень похожие на то, что говорите вы сейчас. Так что ваши слова поразили меня больше тем, что совпали с мыслями мамы, хотя и совсем иначе выраженными. Я не могу сказать, что я в восторге от этих идей. Ведь я действительно ненавижу свою тетку и не верю ни одному ее слову. Вы и представить себе не можете, как она умеет лгать.

– А разве вы так безупречно правдивы? – тихо спросил Иллофиллион.

– Нет, – ответила Лиза, покраснев до корней волос. – Нет, я далеко не всегда правдива. Но... хотя, зачем вдаваться в далекое прошлое? Если вы говорите, – она сделала сильное ударение на «вы», – что она уедет, я вам верю. Это все, что нам нужно.

– Нет, – снова сказал Иллофиллион. – Это далеко не все, что вам нужно, чтобы быть счастливой. Вы так привыкли иметь рядом с собой живой предлог, чтобы жаловаться на свои несчастья, что создали себе привычку, вместо того чтобы следить за собой, следить за тетей, выискивая в ней причины своих бед. И не замечали, что не только она, но и вы, Лиза, были мучительницей и матери, и отцу, и тете... и самой себе.

При последних словах Иллофиллиона Лиза опустила голову.

– Это правда, – сказала она затем, подняв глаза на Иллофиллиона.

Иллофиллион помог ей встать, подал мне большой стакан с примочкой и маленький с каплями и предложил Лизе, опираясь на мою руку, идти спать, чтобы утро встретить здоровой и свежей.

Было уже за полночь. С помощью тетки я довел Лизу до ее купе, подал ей капли, которые она тут же выпила, а тетке – большой стакан с примочкой, пожелал им покойной ночи, раскланялся и вернулся к Иллофиллиону. Я застал его в коридоре, так как проводник стелил нам постели. Я подошел к нему, и он сказал мне по-английски, чтобы я сейчас же ложился спать, поскольку завтра понадобятся силы, а вид у меня очень утомленный. Ему же надо написать два письма, и он ляжет потом.

Уже по короткому опыту я знал, что говорить о последних событиях он не станет, а утомлен я был ужасно. Не возражая, я согласно кивнул головой, залез на верхний диван и едва успел раздеться, как заснул мертвым сном.

Проснулся я от стука в дверь и голоса Иллофиллиона, отвечавшего проводнику, что мы уже проснулись, благодарим за то, что он нас разбудил, и тотчас встаем. Но когда я спустился вниз, то увидел, что постель Иллофиллиона была даже не примята и три письма лежали наготове, запечатанные в конверты, а сам он уже переоделся в легкий серый костюм. Иллофиллион попросил меня собрать все наши вещи, сказав, что пройдет к Лизе, которую навещал уже два раза ночью. Он прибавил, что организм девушки крепок, но нервная система так слаба, что ей необходим бдительный и постоянный уход. И потому он написал матери Лизы, графине Р., письмо с подробными указаниями, как заняться лечением и воспитанием дочери.

С этими словами он вышел, я же так и остался посреди купе с открытым ртом. Много чудес перевидал я за эти дни, но чтобы Иллофиллион и в самом деле оказался доктором и решил писать письмо совершенно неизвестной ему графине Р. о ее – тоже ему мало известной – дочери, – этого уж я никак не мог взять в толк. «Где же тут такт?» – мысленно спрашивал

я себя, припоминая, что говорил Флорентиец о такте и предельном внимании к людям. Долго ли, со свойственными мне рассеянностью и способностью мигом забывать все окружающее, стоял я посреди вагона, – не знаю. Только внезапно дверь открылась, и я услышал веселый голос Иллофиллиона:

– Да ты угробишь нас, Левушка. Надо скорее все сложить, мы подъезжаем.

Я сконфузился, принялся быстро складывать вещи, но Иллофиллион делал все лучше и быстрее, – мне оставалось только подавать вещи. Не успели мы уложить и закрыть чемоданы, как подъехали к перрону.

В коридоре я увидел Лизу и ее тетку в нарядных белых платьях и элегантных шляпках. Лиза действительно была свежа, как роза, и в глазах ее светилась радость. Тетка же ее была бледна, на лице ее выражалась скорбь, на лбу залегла поперечная морщина, тогда как вчера он был совершенно гладок; губы ее были плотно сжаты; но, странно, – сейчас она нравилась мне гораздо больше; от ее вчерашней плотоядности ничего не осталось. То было лицо стареющей женщины, преображенное душевным страданием. Я поздоровался с ними издали; у меня не было желания заглядывать еще глубже в драму этих жизней. Севастополь сразу напомнил, что здесь мы сядем на пароход и снова отправимся на Восток; и я погрузился в мысли о брате и его судьбе в эту минуту.

Нарядная публика выходила из нашего вагона, и не менее нарядные люди встречали прибывших на перроне. Царили веселые возгласы, смех, объятия. И снова резанула мысль, что меня встречать некому и некого мне прижать к груди во всем мире, хотя в нем миллионы людей. Иллофиллион взял меня под руку, взглянув, как мне показалось, не без укора. Через минуту мы вышли вслед за носильщиком на перрон, где ждала нас Лиза рядом со стариком высокого роста с небольшой седой эспаньолкой, очень красивым, гордым и элегантным. Лиза подвела его к Иллофиллиону и сказала, что в вагоне упала так неловко, что разбила всю левую щеку и висок. И вот доктор помог ей какой-то микстурой так хорошо, что и следа от ушиба почти не осталось. Старик, – дедушка Лизы, – встревоженный внезапной травмой внучки, высказал признательность. Он спросил, куда мы едем, сказав, что у него есть запасной экипаж и он может довести нас до Гурзуфа. Иллофиллион поблагодарил, говоря, что мы останемся в Севастополе.

– В таком случае разрешите моему кучеру довести вас до лучшей гостиницы, – сказал он, снимая шляпу.

Я видел, что Иллофиллиону очень этого не хотелось, но делать было нечего, – он тоже снял шляпу, поклонился и принял предложение.

Глава 10

В Севастополе

Все вместе мы вышли из здания вокзала. Старик велел нашему носильщику отыскать в целой веренице всевозможных собственных и наемных экипажей кучера Ибрагима из Гурзуфа. Через несколько минут подкатила отличная коляска в английской упряжке, с белыми чехлами на сиденьях и кучером в белой же ливрее с синими шнурками, в высоком белом цилиндре с синей лентой. При широком татарском лице Ибрагима его английское одеяние выглядело довольно комично. Я подумал, что у того, кто подбирал кучера к английской упряжке, было не много такта. Вообще, это короткое словечко не покидало меня и при всяком подходящем или неподходящем случае вылетало из какого-то закоулка в моем мозгу, дверь в который я не умел, очевидно, запретить как следует.

Пока мы прощались с дамами и усаживались в коляску, старик давал кучеру указания, куда нас отвезти, какого управляющего вызвать, чтобы нас отлично устроили в номере с видом на море, и последнее, что я услышал, было приказание Ибрагиму оставаться весь день в нашем распоряжении, свозить нас в Балаклаву и только назавтра, выполнив еще какие-то поручения, выехать в Гурзуф.

Я посмотрел на Лизу. Она не сводила глаз с Иллофиллиона. Она так смотрела на него, точно он был сказочный принц, а она – Золушка. Я перевел глаза на Иллофиллиона и снова подумал, что он красив, как Бог, но Бог суровый.

Тетка все это время стояла, опустив глаза, и казалась еще бледнее в ярких лучах солнца. Мне было ее сердечно жаль; мне казалось, что я, одинокий и бездомный, могу более других понять ее скорбь и неуверенность в надвигающейся полосе ее новой самостоятельной жизни. Прощаясь с нею, я крепко пожал и нагнулся поцеловать ей руку, не по велению хорошего тона, но в самом искреннем сердечном порыве. Она, казалось, почувствовала теплоту моего сердца, ответила на пожатие и взглянула на меня. Я даже похолодел на мгновение, такая бездна отчаяния была в ее глазах.

«Боже мой, – думал я, усаживаясь рядом с Иллофиллионом, который говорил о чем-то с Лизой, – неужели в жизни так много страданий? И зачем так устроена жизнь? Зачем столько слез, нищеты и горя? И как понять, что это человек сам множит свои скорби, как говорит Иллофиллион?

Вокзал был довольно далеко от города. Я впервые видел Крым и этот исторический город. Все в нем дышало для меня очарованием. Я мысленно расставлял редуты и башни, и пленительные образы Корнилова, Нахимова и Тотлебена вели воображение далее, к первому герою той страшной обороны – русскому солдату. Иллофиллион разговаривал с кучером, который оказался уроженцем Севастополя и не так давно похоронил деда, участвовавшего в тяжелых боях, выпавших на долю четвертого бастиона.

Он вызвался отвести нас на верхний бульвар, чтобы мы увидели, где проходили бои, с обозначением блиндажей и бастионов, сказав, что в Балаклаве мы посмотрим гавань, где затонуло громадное судно, знаменитый «Черный принц» англичан. Мне больше всего хотелось видеть Нахимовский курган, но я не хотел вмешиваться в разговор. Сердце мое так было полно горечью жизни, что обычная моя смешливость и интерес к новым местам отошли на какой-то далекий план. Страдания людей опаляли, как беспощадное солнце, поджаривавшее нас. А перед нами лежал этот город, спасенный такими неопишемыми страданиями и гибелью безвестных тысяч людей, имен которых никогда не сохраняет история, зная одно только имя

народа – Иван Сотысячный!³ И где-то рядом высилась в моем представлении фигура венценосного императора Николая I, у которого не хватило ума прислать достаточно войска и провианта в это погибельное место, вместо того чтобы собирать войска на Кавказе, где он поджидал врага. И сколько же было их, грабителей, негодяев и знатных дураков, помогавших гибнуть этим безвестным героям – Иванам Сотысячным, – умиравшим просто и без проклятий.

Мысли мои прервал Иллофиллион, спросивший, не согласен ли я прежде всего узнать о билетах на пароход в Константинополь. Вмешавшийся Ибрагим уверил Иллофиллиона, что в гостинице, куда он нас привезет, есть агент пароходной компании, что он доставляет и билеты, и заграничные паспорта, и что у нас никаких хлопот не будет, потому что пока путешественников мало, а вот через месяц будет «очень большая масса», как выразился Ибрагим.

Иллофиллион согласился ехать прямо в гостиницу, но я видел, что ему как-то не по себе. Несмотря на все его самообладание, лицо его было сурово и нахмурено. Если бы я не знал другого его облика, как бы я был несчастлив, что связал судьбу с этим человеком! Точно прочитав мои мысли, Иллофиллион обернулся и ласково мне улыбнулся. Какой странный инструмент – сердце человека! Одной улыбки и легкого пожатия руки было довольно, чтобы мне стало легко, чтобы сердце открылось для тех радостных сил и чувств, которые я закупорил где-то в тени души.

Иллофиллион велел Ибрагиму заехать на главную почту, чтобы отправить письма. В эту минуту мы проезжали мимо собора, где стоял когда-то гроб убитого при обороне Севастополя Корнилова. Вскоре мы остановились у почты – маленького и грязного домишки. Иллофиллион отправил письма, получил телеграммы и, увидев расклеенные по стенам плакаты и объявления пароходных обществ, спросил, где можно купить билеты на пароход в Константинополь. Старый сторож, в не менее старом и засаленном солдатском мундире, должно быть еще времен обороны, ибо подобных мундиров нигде теперь не было и в помине, ответил, что агент имеется в приморской гостинице, поскольку там еще есть надежда заполучить пассажиров, а здесь билеты пока никто не спрашивал.

Мы снова сели в коляску и двинулись к гостинице, которая оказалась неподалеку. Очевидно, хозяина Ибрагима хорошо знали, потому что был немедленно вызван управляющий и нас поселили в лучшем номере. Через несколько минут явился и пароходный агент. Он сказал, что превосходный новый английский пароход уходит впервые в Смирну и Константинополь завтра в 3 часа дня. А сегодня в ночь отправляется только грязная и старая итальянская скорлупа, которую новый пароход все равно перегонит; он сказал также, что на нем есть совершенно новенькая свободная каюта люкс.

Иллофиллион согласился, отдал ему наши паспорта и деньги и условился, что вечером, когда мы будем обедать здесь же, в гостинице, нам принесут билеты. Заграничные паспорта нам должны были вручить в полном порядке завтра в час дня, так как это не так скоро здесь делалось. Иллофиллион распорядился, чтобы покормили Ибрагима, а сами мы, умывшись и переодевшись, спустились в тенистый и прохладный зал ресторана завтракать. Иллофиллион сказал, что есть телеграмма от Ананды, извещающего, что все благополучно, что Флорентиец выехал в Париж, а он, Ананда, будет телеграфировать нам в С. и Константинополь на главную почту и чтобы мы написали о себе в Москву, в ту же гостиницу.

Позавтракав, мы сели в коляску Ибрагима и отправились осматривать город, доверившись во всем вкусу и знаниям нашего кучера. Должно быть, он не раз показывал достопримечательности города знакомым старика Р., потому что очень толково провез нас по лучшим улицам, показав все, что было построено за последние годы, и сообщив, что обратно повезет другой дорогой и мы познакомимся со всем городом.

³ Иван Сотысячный – собирательный образ лучшей части русского народа в учении Агни-Йоги. – *Прим. ред.*

Огромное впечатление произвел на меня верхний Севастопольский бульвар. Мы дважды обошли с Иллофиллионом места, ставшие бессмертной славой России, пусть многие и считали их бесславными страницами истории.

Никогда прежде не видавший моря, я положительно растворился в восторге, увидев его бушующим с обрывистых берегов у Балаклавы. Я забыл обо всем, кроме природы, солнца и моря, и мне казалось, что уж лучше и быть ничего не может. Иллофиллион, посмеиваясь надо мной, говорил, что я вскоре увижу такие красоты, перед которыми Крым решительно покажется мне убогим. Шутил он и над моими восторгами, пообещав, что первая же морская буря, в которую я попаду, сменит, при моей экспансивности, восторг на проклятия.

Только вечером мы вернулись в гостиницу. Щедро расплатившись с Ибрагимом, получив билеты у агента, мы прошли в свой номер и оттуда в ресторан ужинать. Пока я был на воздухе, я не замечал ни усталости, ни голода, ни палящего солнца. Сейчас же лицо мое горело, я хотел есть, пить, спать – все вместе. Взглянув на Иллофиллиона, я мысленно пожал плечами. Этот человек словно только что вышел из своего кабинета, где преспокойно читал газету. Правда, лицо и у него немного обветрилось и загорело, но не пылало, как мое, и на нем не было видно признаков утомления; он, очевидно, мог встать и ехать дальше, в то время как я прямо валился с ног от усталости.

Зал был почти пуст, но все же несколько столиков было занято. Однако я так был занят собой и утолением своего голода, что даже не обратил внимания на тех, кто был в зале. К моему удивлению, Иллофиллион ел мало. На вопрос, неужели он не голоден, он ответил, что в пути есть надо мало; чем меньше ешь, тем легче путешествовать и тем лучше воспринимаешь все окружающее. В его тоне отнюдь не было ни малейшего укора или осуждения. Но я как-то сразу почувствовал себя неловко. Я вообще отличался прекрасным аппетитом, чем удивлял своих товарищей по гимназии. Обжорой я все же не был; но сейчас почувствовал себя так, как будто бы действительно был в этом грешен.

Я моментально потерял вкус к еде и отодвинул тарелку. Заметив это, Иллофиллион спросил, сыт ли я уже. Я просто и прямо сказал, что потерял вдруг аппетит, устыдившись своей прожорливости рядом с ним.

– Вот уж не следует, по-моему, сравнивать себя ни с кем ни в аппетите, ни как-то иначе. У каждого свои собственные обстоятельства, и чужой жизнью не проживешь ни минуты, – сказал Иллофиллион. – Кушай, мой дорогой, на здоровье, сколько тебе хочется. Придет время, доживешь до моих лет, и еда станет для тебя просто необходимостью, а не удовольствием. Я очень виноват, что необдуманно лишил тебя аппетита, – ласково улыбнулся он.

– Странно, что вы считаете себя намного старше. Мне скоро 21, вам же никак не дашь больше 26–27 лет, а быть может, и меньше того. А вообще я благодарен вам за все, что успел от вас услышать.

Тут я перешел на английский и продолжал:

– Если бы вы не поехали со мной, что бы я делал? Как мог бы лететь на помощь брату, если бы вас не было рядом? Я уже говорил Флорентийцу, что не могу жить за чужой счет, а ваши слова о том, что человек не может понять смысла жизни, пока не заработает свой кусок хлеба, только еще глубже убедили меня, что так продолжаться не может. С той самой злосчастной ночи, когда я нарядился в маскарадный костюм для пира у Али, я не вылезаю из духовного маскарада. То я слуга-переводчик, то я племянник, то двоюродный брат, то друг, – в то время как из всех этих ролей мне пристала только одна: роль слуги. Разрешите мне стать вашим слугою, так как ничего другого я делать для вас не могу. Может быть, и в этом я на первых порах не преуспею. Но я приложу все силы, все усердие, чтобы стать вам хорошим слугой, – тихо, внешне спокойно, но с огромным волнением в сердце говорил я.

– Мой дорогой друг, мой бедный мальчик, – отвечал мне Иллофиллион, – отложим этот разговор до путешествия по морю. Быть может, там, оторванный от земли и всех ее условно-

стей, ты больше поймешь свою огромную ответственность за жизнь брата, за его счастье и дальнейшую судьбу. Я нисколько не намерен отговаривать тебя от труда. Но тебе надо понять, в чем именно состоит твой труд. Быть может, жизнь, которая дает тебе возможность близко увидеть и величие, и ужас путей человеческих, откроет тебе понимание и смысл твоей собственной жизни глубже и шире. И ты станешь служить не только своей родине, но и всей необъятной, звенящей вокруг жизни. Мы поговорим об этом на пароходе. А сейчас ешь мороженое, а то оно все растает, – закончил он, опять улыбнувшись.

В его тоне была такая глубокая сердечность, так нежно смотрели на меня – беспомощного и бездомного, одинокого и потерянного без него – его темные глаза, что я невольно вспомнил рассказ о том, как спас его, умирающего, Ананда. Должно быть, Ананда так же нежно смотрел на него в тот миг. Я не лежал сейчас в агонии, но поистине могу сказать, что это были дни тяжелой агонии моего духовного существа.

Мы кончили наш ужин, расплатились и поднялись к себе в номер. Здесь уже были готовы постели; мы потушили свет, открыли окна, полюбовались темным небом, огоньками на мачтах и лодках и легли спать.

Утром, проснувшись, я обнаружил, что Иллофиллиона в комнате нет. Пока я совершал свой туалет, вошел он, свежий, веселый, в новом полотняном белом костюме и таких же туфлях, с пакетами в руках. Он рассказал мне, что проснулся очень рано, решил прогуляться по городу и набрел на прекрасный магазин, где купил нам по белому костюму, не то на пароходе мы просто пропадем от жары. Он развернул пакеты и подал мне такой же белый костюм, в каком был сам. Я его примерил, показался себе очень смешным, но все же в нем остался.

Далее Иллофиллион рассказал, что повстречал вчерашнего агента, шедшего вместе с капитаном парохода, на котором мы должны были отправиться. Они познакомились, и капитан предложил перебраться на пароход раньше общей посадки, точно указав ему место стоянки. Иллофиллион угостил капитана превосходным вином в ресторане нашей гостиницы и получил записку к дежурному помощнику, в которой говорилось, что мы имеем право занять свою каюту в любое время. Было как-то жаль расставаться с сушию хотя бы на один час раньше; но внутренний голос говорил мне, что Иллофиллион даром спешить не станет, и я не возразил ни слова.

Когда я был совсем готов, он осмотрел меня, предложил выпить кофе и пойти в магазин, чтобы приобрести еще по одному костюму – из темной чесучи, или альпага. Я был рад провести лишний час на суши и решил, что я из тех горе-любителей, которых пленяет море, пока они стоят на берегу. Какая-то тоска одолевала меня, когда я думал об этом первом морском путешествии, которое казалось мне бесконечным.

Вскоре мы управились со всеми делами, нашли такие костюмы, какие хотелось Иллофиллиону, и мне мой темно-серый так понравился, что я в нем и остался. Вернувшись в гостиницу, мы расплатились и получили у агента паспорта, добытые им раньше обещанного срока. Сев в лодку тут же, у гостиницы, мы поплыли к пароходу. Довольно долго мы лавировали между массой самых разнообразных судов, пока наконец не оказались у махины-парохода, выкрашенного в белый и красный цвета; рядом с ним мы и наша лодка походили на букашек.

Взобравшись по трапу на палубу и предъявив записку капитана дежурному помощнику, мы добрались до своей каюты люкс. Она была расположена на верхней палубе, рядом с каютой капитана, и отделялась от нее только деревянной переборкой, что делало нас обладателями многих необыкновенных преимуществ. В нашем распоряжении было небольшое пространство принадлежавшей только нам верхней палубы, куда никто другой из пассажиров не имел права заходить. Кроме того, в нашей каюте была прекрасная ванна, стены обиты серым шелком. Были и два спальных дивана, подле каждого электрическая лампочка с колпачком, а в потолок был вделан матовый фонарь.

Все металлические детали были никелированные; на полу ковер, в тон обивке стен и диванов, серый с розовыми цветами. Я еще никогда не видел подобной роскоши и стоял, по обыкновению таращив глаза. Но Иллофиллион не дал мне впасть в мечтания и вывел на палубу. Вид на город был очень живописен. Но вокруг поднимались пустынные холмы; и желтая земля, иссохшая, потрескавшаяся от зноя, не являла собой заманчивого зрелища. Посмотрев на часы, я был поражен, как быстро промелькнуло время, – скоро нам предстояло двинуться в путь.

Наконец матрос доставил последние вещи в нашу каюту, закрепил их, к моему большому удовольствию, и мы расплатились с агентом, делавшим вид, что помогает, а на самом деле суетившемся возле матроса без смысла и толку. У меня мелькнула мысль, что жизнь моя в последние дни, пожалуй, чем-то напоминает суету этого агента. Когда другие действуют, я тоже всего лишь ассистирую, не видя в своем собственном поведении ни логики, ни смысла, ни толку.

Иллофиллион поблагодарил агента, дав ему добавочный куш; тот рассыпался в благодарностях и подал Иллофиллиону свою карточку с адресом, уверяя, что окажет нам любые услуги, стоит только ему написать или телеграфировать в Севастополь. Иллофиллион взял карточку, назвал мою фамилию и сказал, что, весьма возможно, мы еще будем нуждаться в его услугах. Он также спросил агента, отправится ли следом за нами в Константинополь такой же быстроходный пароход. Агент рассмеялся и сказал, что такого чудо-парохода больше нет. К тому же наше судно не будет заходить в порты, только в Одессу.

Последним нас покинул матрос из штата судовой прислуги, приставленный к нашей каюте. Малый был веселый и расторопный, он бегал по трапам, как суший акробат. Хорошие чаевые сделали его еще более любезным, и он объяснил нам, что пассажиры каюты люкс могут не спускаться к табльдоту, а требовать кушанья к себе наверх. Через несколько минут он появился по собственной инициативе с меню завтраков, обедов и ужинов. Иллофиллион просмотрел его и сказал, что мы вегетарианцы, поэтому он хотел бы, если это возможно, увидеть повара и договориться с ним об отдельном питании для нас.

Матрос слетал вниз и через некоторое время явился с двумя важными особами в безукоризненных белых костюмах. Один из них был метрдотель, другой – главный повар. Повар был толст и важен, метрдотель – высок и худ и держался с большим достоинством и любезностью. Дело быстро уладилось, главный кок заявил, что его помощник – специалист в вегетарианской кухне, что на пароходе есть большой выбор зелени, овощей и фруктов, а метрдотель предложил нам завтракать и обедать на полчаса раньше. Оба, получив по крупной бумажке, стали еще любезнее, и повар сказал, что может через полчаса приказать сервировать для нас завтрак, когда публика еще только начнет съезжаться. Иллофиллион согласился, оба господина удалились, и мы остались наконец одни.

Шум, выкрики команд, скрип кранов, поднимавших грузы, ошеломляли меня. Я еще ни разу не видел, как грузится большой пароход. Да и пароходы-то видел только издали. В раскрытый трюм, который казался бездонным, опускались огромные тюки. Грузчики друг за дружкой сновали с тяжестями на спинах по длиннейшим мосткам, достигавшим берега и уложенным поперек на нескольких баржах.

Внезапно внимание мое было привлечено мелькнувшей в воздухе коровой. Испуганное животное громко мычало и рвалось из крепких ремней, которыми оно было привязано к подъемному крану. Одна за другой коровы исчезали в люке бездонного трюма. Потом настала очередь ржущих лошадей, которые страдали еще больше. Все поражало меня. Казалось, я знал, что все это существует, но когда увидел воочию, то показалось, что это необычайно сложно и что ум человеческий, придумавший всю эту технику, воистину творит чудеса.

Я поделился своими мыслями с Иллофиллионом; он улыбнулся и ответил, что нет чудес ни в чем. Все, чего человек достигает, – лишь та или иная степень знания, к какой бы области

ни принадлежали видимые или невидимые глазу, постигаемые только мыслью и интуицией «чудеса».

– Нам надо быстрее позавтракать, – сказал он. – Скоро появятся пассажиры. Я хотел бы вместе с тобой наблюдать за посадкой. Жаль только, что жара, пожалуй, будет тебе вредна.

На мой вопрос, почему это он, уклоняющийся от всякой суеты, хочет наблюдать толпу, Иллофиллион ответил, что надо удостовериться, удалось ли нам оторваться от преследователей, и тогда мы можем спокойно плыть до Константинополя, где нас встретят друзья Ананды.

В это время матрос принес складной стол и два стула, следом за ним пришел лакей со скатертью, посудой и салфетками. На вопрос, что мы будем пить, Иллофиллион заказал бутылку вина и какое-то мудреное питье со льдом, название которого я слышал впервые. Очень скоро мы уже сидели за столом, и я с большим удовольствием потягивал через длинную соломенную трубочку холодный напиток розового цвета, необыкновенно вкусный и ароматный.

В разгар нашего завтрака на палубу вошел капитан, приветствовавший Иллофиллиона как старого знакомого, он любезно поздоровался и со мной, напомним мне Флорентийца элегантностью своих манер. Капитан обращался с нами как с желанными гостями и любезно предложил пользоваться всей палубой, а не только той частью ее, которая принадлежала нашей каюте.

– Скоро начнется съезд пассажиров, – сказал капитан, выпивая стакан вина, любезно налитого ему Иллофиллионом. – Хотя настоящий сезон еще не настал и другие пароходы пустуют, на мой запись шла уже месяц назад. За день до вашего приезда от своей каюты отказалась графиня Р. из Гурзуфа. Вот вам и посчастливилось.

Я постарался скрыть свое изумление, усердно подражая невозмутимости Иллофиллиона, чтобы быть «вполне воспитанным» человеком. Но я был глубоко поражен таким совпадением. Очевидно, это мать Лизы должна была ехать в нашей каюте, а может быть, даже несчастная ее тетка думала совершить морское путешествие.

– Если у вас нет неотложных дел, – продолжал капитан, – я бы советовал вам вооружиться биноклями и понаблюдать за посадкой. Здесь так явно обнаруживается мера человеческого воспитания, характеры, манеры, что это не только интересное зрелище, но и поучительный урок. У меня перед каютой натянут тент. Вы сможете опустить занавески и будете сидеть в тени, незаметно наблюдая за прибывающими. Иногда бывают преуморительные картины. Вот, пожалуйста сюда, я покажу, как устроиться. До самого отплытия можете сидеть здесь. Потом, когда выйдем в открытое море, ко мне придут с докладами помощники, – как это всегда бывает при отправлении, – неизбежны случайности, которые требуют вмешательства капитана. Это вам будет неинтересно.

Говоря все это, он усадил нас под темно-синим тентом, опустил такие же занавески и подал прекрасные бинокли.

– Итак, будьте как дома, – и до свиданья. Как только выйдем в море, вам придется покинуть мои владения.

Он приложил руку к козырьку фуражки и сошел вниз.

– Вот все и устроилось, лучше чем вы хотели, – сказал я Иллофиллиону.

Он кивнул головой, взял свой бинокль и принялся рассматривать публику, которая стала собираться на берегу. Я видел, что ему не хочется разговаривать, и мне не оставалось ничего другого, как последовать его примеру.

Должно быть, наш пароход сидел очень глубоко в воде, так как посадка шла с противоположной стороны гавани. Теперь нам были видны несколько элегантных экипажей с разряженной публикой; дамы в белых платьях, с белыми зонтами, и мужчины в белых костюмах и панاماх.

Бинокли были превосходными, можно было отчетливо рассмотреть даже лица. Меня больше всего занимали те, кто шел по левым мосткам, очевидно, это была публика из кают

первого и второго классов. По правым мосткам двигались те, кто сам тащил на себе свои узлы и сундучки. Мелькали и фески⁴, и пестрые халаты; группами передвигались женщины, закутанные с ног до головы в черные бурнусы, с темными сетками на лицах, в сопровождении детей разных возрастов.

– Вот это удача, – вдруг услышал я возглас Иллофиллиона. Он показал мне на двух высоких мужчин в темных костюмах и красных фесках, вступивших на мостки и выделявшихся на фоне элегантных фигур в белом.

Я принялся их разглядывать. Один был постарше, лет сорока; другой совсем молодой, моих лет. Оба были жгучие брюнеты, черноглазые, красивые и очень стройные.

Иллофиллион встал и попросил меня оставаться на месте, сказав, что сам пойдет навстречу туркам, ибо это и есть те самые друзья Ананды, к которым мы едем в Константинополь, и что это необыкновенная удача плыть с ними отсюда на одном пароходе.

Не успел Иллофиллион уйти, как на палубу поднялся капитан. Он очень удивился, увидев меня одного; и я должен был объяснить, что Иллофиллион увидел своих друзей и пошел вниз встретить их.

– Ну, значит, вам будет весело, – сказал капитан. – Передайте вашему брату, что его друзья будут желанными гостями здесь, на палубе, вопреки правилу.

Я поблагодарил его за любезность и встретился с ним взглядом.

Положительно, в последние дни мне везло на людей с необычайными глазами, и я начал досадовать, что у меня-то были самые обычные, темные. Капитан был молод, на вид ему было чуть больше тридцати. Поджарая фигура, очень ловкие движения, легкая походка – все указывало на большую физическую силу и тренированность. Бритое лицо с квадратным подбородком выказывало большие административные способности. Губы, красиво очерченные, были плотно сжаты. С чертами не такими правильными, как у Флорентийца или Ананды, лицо это было все же очень красиво, и, по всей вероятности, он имел большой успех у женщин. Сила и большой характер читались во всей его элегантной фигуре. Но когда я встретился с его пристальным взглядом, то подумал, что близкая дружба с ним вряд ли приятна. Глаза его были совершенно желтые, как янтарь, и зрачки очень странной, как бы продолговатой формы, точно у кошки. Янтарные эти глаза показались мне жестокими, мерещились долго, пока не вернулся Иллофиллион.

Иллофиллион возвратился веселым, таким я его еще не видел; сказал, что друзья-турки выехали из Москвы следом за нами, что они видели Ананду и привезли нам письма, мы получим их сегодня, как только они кончат завтракать и смогут разобрать вещи. Казалось, теперь он потерял всякий интерес к наблюдению за публикой и как бы нехотя, время от времени, поглядывал на все прибывавших пассажиров. А между тем зрелище было необычайно красочно пестротой одежд, контрастом манер и жестов. Кто-то суетливо бежал и расталкивал всех на пути; кто-то громко перекликался, и крики сливались в один сплошной гул. Но вот раздался вой паровой сирены; и если бы не матросы, сдерживавшие напор людской волны, произошла бы самая настоящая давка.

Долго еще продолжалась посадка; наконец трапы были отданы, между берегом и парходом образовался разрыв, и раздалась команда капитана, который сам стоял у руля, выводя судно в открытое море.

⁴ Восточные головные уборы красного цвета с украшением-кистью. – *Прим. ред.*

Глава 11

На пароходе

Мы все сидели под синим тентом, и я радовался, что вижу наконец море, беспредельный водный простор, где даже в лучший бинокль не увидишь берегов. К моему удивлению, Иллофиллион не разделял моей радости. Напротив, он пристально вглядывался в горизонт и, хотя мы шли по гладкой, как зеркало, воде, предсказывал шторм, редкий в это время года, свирепый шторм на Черном море. Я тоже принялся рассматривать в бинокль горизонт; но кроме моря и неба, сливавшихся в одну серую полосу, ничего не видел.

– Как только появится капитан, мы поблагодарим его за гостеприимство и пойдем к себе в каюту, – сказал Иллофиллион. – Пока нет качки, тебе надо разобрать вещи в своем саквояже. Я уверен, что Ананда подумал о пилюлях на случай бури, чтобы тебя не укачало. Если – как я и полагаю – налетит ураган, тебе надо успеть до начала качки принять три раза пилюли. Нам с тобой предстоит помочь людям, едущим в третьем классе. Привилегированная публика будет иметь довольно удобств, хотя ей тоже придется пострадать. Но третий и четвертый классы, как всегда заполненные до отказа бедняками, будут в нас нуждаться.

Я призадумался. Еще ни разу Иллофиллион не говорил мне об опасности нашего морского путешествия, да и мне самому плаванье казалось приятной прогулкой. Вскоре мы вышли в открытое море, но берега были еще отчетливо видны – пустынные, желтые, ничуть не привлекательные берега.

Показался капитан. Мы вернули ему бинокли, поблагодарили за любезность и хотели тут же уйти. Но он внимательно посмотрел на нас и спросил, часто ли мы плавали по морю. Иллофиллион сказал, что сам он к морю привычен, но я оказался на пароходе в первый раз.

– Боюсь, что первое впечатление от знакомства с морем не будет для вас приятным, – сказал мне капитан. – Барометр показывает такую небылицу для этого времени года, что если бы не сам я его выбирал и выверил, – я мог бы подумать, что он просто шалит. Надо ждать не просто бури, но бури редкостной. Как ни прекрасно мое судно, – думаю, что придется немало побороться с ветром, морем и ливнем в эту ночь. Вам же следует наглухо закрыть свою каюту, а я прикажу матросам установить запасные щиты, так как предполагаю, что волны будут захлестывать и эту палубу.

Я ужаснулся. Высота парохода отсюда казалась с хороший трехэтажный дом. Мне подумалось, что такой волны просто не бывает. Лицо капитана было очень решительно и бодро, но сурово. Очевидно, чувство страха было неведомо этому стальному человеку. Он точно радовался, что вступит в бой со стихией. Я подумал, что он, пожалуй, и море-то любит из-за той борьбы, в которую приходится с ним вступать; и если сейчас его что-нибудь заботит, так это ответственность за жизни людей, груз и судно, которые ему доверены и над которыми он полновластный хозяин посреди этих вод.

Иллофиллиону казалось, что буря разыграется к ночи. Капитан возразил, что зыбь и качка, от которой будут страдать и люди, и животные, возможны ночью, но настоящая буря грянет лишь под утро, на рассвете. К капитану стали подниматься его помощники, мы расстались с ним и пошли в свою каюту. Я принялся разбирать саквояж, которым снабдил меня Флорентиец в дорогу. Он оказался очень вместительным, в нем было много отделений, и одно из них состояло из дорожной аптечки. Я спросил, не принять ли мне одну из волшебных конфет-пилюль Али, которые давали так много сил и свежести. Но Иллофиллион ответил, что против последствий морской качки они совершенно не годятся; а надо найти лекарства, устраняющие головокружение и тошноту, поскольку вряд ли Ананда мог не предвидеть качки.



**НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО ВЫСШЕЕ БЛАГОРОДСТВО
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ ОТГОРАЖИВАТЬСЯ ОТ
ТЕХ, КОГО МЫ СЧИТАЕМ ЗЛЫМИ ИЛИ ДАЖЕ СВОИМИ
ВРАГАМИ. ВРАГА НАДО ПОБЕДИТЬ; НО ПОБЕЖДАЮТ
НЕ ПАССИВНЫМ УХОДОМ В СТОРОНУ, А АКТИВНОЙ
БОРЬБОЙ, ГЕРОИЧЕСКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ ЧУВСТВ И
МЫСЛЕЙ. НЕЛЬЗЯ ПРОЖИТЬ ОДАРЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ
– ТОМУ, КТО ПРЕДНАЗНАЧЕН ВНЕСТИ КАПЛЮ СВОЕГО
ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА В ТРУД ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, –
БЕЗМЯТЕЖНО, БЕЗ БУРЬ, СТРАДАНИЙ И
БОРЬБЫ С САМИМ СОБОЮ И ОКРУЖАЮЩИМИ**



Я предоставил самому Иллофиллиону искать пилюли; он действительно их нашел очень скоро и сейчас же заставил меня принять одну из них.

– Ты полежи немного, дружок, – сказал он мне. – Если пилюли будут тебе полезны во время качки, то сейчас ты должен почувствовать легкое головокружение и тошноту, – говорил он, подавая мне пижаму и ночные туфли.

Я чувствовал себя превосходно, но сообразил, что времени полюбоваться морем будет еще вдосталь, а сейчас неплохо и полежать, – надел пижаму и вытянулся на мягком диване. Оказалось, что лечь было самое время. Не успел я подумать, какое чудное подо мной ложе, как все завертелось у меня перед глазами, застучало в висках, замутило. Я даже издал нечто вроде стона. Рука Иллофиллион легла на мой лоб, он нежно вытер мне лицо, покрывшееся мгновенно испариной, и, наклонившись, заботливо положил под голову мягкую подушку.

– Это очень хороший признак, Левушка, – услышал я его голос, словно бы Иллофиллион находился где-то очень далеко. – Через несколько минут ты придешь в себя и будешь нечувствителен даже к сильной качке. Если же буря начнется, как думает капитан, на рассвете, – успеешь закалить этим лекарством организм и сможешь отлично помогать пассажирам. Ты говорил, что хочешь работать. Вот тебе жизнь и посылает сразу же случай стать самоотверженным слугой людям, которые не закалены и не подготовлены к тем страданиям, которые ждут их сегодня. Если у тебя не появится страха, если ты не отдашься чувству брезгливости, а будешь отыскивать перепуганных детей и взрослых, чтобы нести им бодрость и помощь, – ты положишь основание своей новой жизни труда и любви, и такое глубокое, что все дальнейшие испытания будут тебе не страшны.

Я слышал его, очень хорошо понимал, но положительно не мог двинуть ни одним пальцем. Не знаю, сколько времени я так пролежал, но наконец почувствовал, что удары в виски прекратились, тошнота прошла. Правда, отвратительное состояние головокружения, когда все плыло перед глазами, оставило настолько неприятное впечатление, что я все еще боялся открыть глаза. Но с каждой минутой я чувствовал себя все лучше и в конце концов поднялся с

дивана, с улыбкой глядя на Иллофиллиона, и мгновенно забыл только что испытанные неприятные ощущения.

– Да ты, Левушка, герой; я даже не ожидал, что ты так легко отделаешься. Когда я призывал к этому лекарству, – противоядию от качки, – я подолгу лежал без движения, – весело говорил мне Иллофиллион. – Мне кажется, что за эти дни, Левушка, ты стал понимать сложность жизни и все ее неожиданные повороты, и сам увидел, сколько героического напряжения может потребовать вдруг от человека жизнь, и он, проснувшись утром веселым, беззаботным ребенком, к вечеру становится взрослым; и судьба зовет его на такой подвиг, о котором он только читал в сказке.

– Это верно, как и все, что я от вас успел услышать, – ответил я Иллофиллиону, надевая костюм. – Быть может, я был бы способен и не на такие пустяки, как глотание гадких пилюль, если бы умел всегда держаться в кругу сосредоточенного внимания. Но я так рассеян, что не в состоянии применить на деле всего, что успел понять благодаря вам и Флорентийцу. Я не могу сразу вспоминать о тех, кому я нужен, а поневоле думаю сначала о себе. Вот и сейчас, я упустил из виду, что могу еще не раз очутиться в бурю на пароходе, пока мне предстоит сбивать с толку преследователей брата. Забыл я и о том, что надо помогать тем, кто в эту бурю будет страдать и нуждаться в ваших заботах.

– Я готов хоть сейчас снова принять это отвратительное средство, – прибавил я, помолчав.

Я оделся, Иллофиллион радостно обнял меня, заметив, что ни мгновения не сомневался в истинных моих чувствах. Он предложил мне спуститься к его друзьям в отделение первого класса, чтобы познакомиться с ними и взять у них адресованные нам письма. Еще он хотел узнать расположение различных помещений на пароходе и посетить его многочисленные гостиные, читальню, библиотеку, большой зал, столовую и т. д. Но я, предвкушая предстоящие нелегкие испытания, потерял всякий интерес к этой роскоши и сказал, что соглашусь только на одно путешествие – осмотреть помещения 3-го и 4-го классов, где нам предстоит трудиться ночью. Иллофиллион согласился, позвонил приставленному к нам матросу и попросил его передать записку своим друзьям-туркам. Матрос вновь продемонстрировал свою способность виртуозно прыгать через несколько ступеней узкой лестницы, и вскоре к нам явились друзья Иллофиллиона.

Иллофиллион встретил их у лестницы и велел матросу подать стулья. Через минуту тот принес четыре плетеных кресла, легкими на вид, но на самом деле оказавшихся такими тяжелыми, что я не мог свое кресло не только поднять, но даже сдвинуть с места. Усевшись, я стал разглядывать новых знакомых.

Типичная внешность и без фесок не могла бы никого ввести в заблуждение относительно их национальности. Иллофиллион представил меня им как брата его друга, а потому и его брата. Старший из мужчин ласково улыбнулся мне, познакомил с молодым своим спутником, оказавшимся его сыном, и подал мне письмо Ананды. Турок назвал мне свое имя, но оно так непривычно звучало и показалось таким длинным, что я его даже не разобрал. Он был очень красив; но теперь показался мне много старше, чем издали, когда я видел его в бинокль, и особенно рядом с сияющим молодостью и красотой Иллофиллионом. Я заметил, что оба турка чрезвычайно почтительны к Иллофиллиону и так же беспрекословно внимают ему, как сам Иллофиллион и Ананда слушали Флорентийца.

Меня очень удивил цвет глаз молодого турка. Оба гостя казались мне черноглазыми; но когда луч солнца упал на бронзовое лицо молодого человека, – я увидел, что от густейших длинных черных ресниц и больших зрачков глаза его только кажутся черными. Когда же зрачки сузились на солнце, я увидел темно-синие глаза, очень внимательные и добрые.

Я так сгорал от нетерпения прочесть письмо, что даже почувствовал, как кровь прилила мне к лицу. Но правила воспитанности не позволяли мне прочесть его немедленно, и, вздохнув украдкой, я положил письмо в карман.

Разговор шел о предстоящей буре, и старший турок передал Иллофиллиону, что слухи о готовящемся шторме уже проникли в первый класс, и все волнуются, особенно дамы. Младший прибавил, что сейчас по всем помещениям парохода расклеивают приказ за подписью капитана, чтобы после ужина никто не выходил на палубу и все оставались во внутренних помещениях, так как выходы на палубу будут закрыты из-за возможной качки.

Иллофиллион поделился со своими друзьями желанием подежурить в 3-м и 4-м классах во время бури. Они сказали, что непременно присоединятся. Но прежде надо было заручиться согласием капитана, который собирался закрыть нас в нашей каюте, прикрыв дверь какими-то особыми щитами.

Старший турок взялся разыскать капитана, но Иллофиллион захотел непременно пойти вместе с ним, и мне пришлось остаться с глазу на глаз с его сыном. Пока я придумывал, о чем бы мне начать с ним разговор, он сказал, что очень устал от экзаменов, что он естественник и перешел на третий курс Петербургского университета. Я очень удивился, ведь и я был студентом второго курса того же университета, математического факультета, и поразился, как это я его прежде не приметил. Он же, оказалось, видел меня не раз; и добавил, что моя репутация не только математика, но и хорошего литератора известна почти всем. Я смутился, покраснел и стал умолять его ничего не говорить о моих литературных работах; я давал читать их только близким друзьям и не понимаю, как это могло получить огласку. По словам турка, все произошло очень просто. На вечеринке в пользу больного товарища кто-то из студентов прочел мой рассказ. Рассказ так понравился публике, что потребовали огласить имя автора. Меня долго вызывали, не поверив в мое отсутствие, и успокоились, только когда кто-то сказал, что я уехал в Азию. И что тогда же было решено послать мой рассказ в журнал, чтобы по возвращении в Петербург меня ждал приятный сюрприз. После того, как это услышал, не знаю, чего во мне было больше: авторской гордости или возмущения тем, что без меня могли распорядиться моим рассказом.

Нас прервали раздавшиеся вблизи голоса, и мы увидели капитана и двух наших друзей.

– Я не могу запретить вам помогать беднякам, которым придется хуже всех, если буря грянет, – говорил своим металлическим голосом капитан. – Но зачем вам мучить этих детей? – продолжал он, кивнув в нашу сторону. – Пусть себе спят или сидят в каютах. Немало будет еще бурь в их жизни. Если хоть от одной их можно уберечь – слава богу!

– Эти дети будут очень нам нужны как братья милосердия. Дать лекарство или влить рому в рот замерзшему человеку не так легко, когда качка кладет пароход чуть ли не набок, – ответил ему Иллофиллион. – Наши дети закалены и бури не испугаются.

Капитан пожал плечами и заметил, что снимает с себя ответственность, если волна смоем кого-либо из нас; что мы все понимаем, какой опасности подвергается даже бывалый человек в сильную бурю, а не только неопытный юноша; и что он еще раз предлагает оставить нас, молодых, в каюте.

Иллофиллион настаивал на своем. Я уж было подумал, что сейчас начнется ссора, но, к моему удивлению, капитан пристально посмотрел на Иллофиллиона, поднял руку к козырьку фуражки и, усмехнувшись, сказал:

– Выходит, вы хотите быть капитаном на палубе 4-го класса этой ночью. Согласен ее доверить вам; действуйте как санитары. Но в помощь вам не смогу дать ни одного матроса, кроме разве что того рыжего, что приставлен к вашей каюте. Он силач, но глуповат; хотя парень он добрый и своей чудовищной силой может быть вам полезен.

С этими словами он нажал кнопку телефона и приказал кому-то принести в нашу каюту четыре пары резиновых сапог и четыре непромокаемых плаща с капюшонами. На другой его

звонок взлетел на палубу и наш матрос. Ему капитан приказал находиться всю ночь на палубе при нашей каюте. И если мы куда-либо двинемся ночью, – сопровождать нас и, в частности, не отлучаться именно от меня ни на шаг. Капитан сказал также, что я в первый раз в море, и хороший матрос должен понимать, что означает приказ капитана не отлучаться от новичка во время плаванья. Я был смущен, даже слегка обижен такой опекой. Но капитан взглянул на меня весело и сказал, что слуга пригодится, когда я буду обслуживать больных, и я еще буду ему очень благодарен, даже захочу угостить его вином, если борьба со стихией окончится благополучно. Матросу же он сказал, что его вахта при нас начнется с девяти часов вечера, а сейчас он может идти поест и отоспаться.

Нам принесли плащи и высокие сапоги, которые мне показались резиновыми; но когда я их надел, то почувствовал, как они эластичны и теплы. Плащи всем пришлось впору, только я в своем утонул до пят; а на высокого турка не налезали сапоги. Ему меняли их раза три, пока не подобрали удобные. Мне тоже отыскали плащ поменьше. После этого мы распрощались с капитаном и с турками, условившись, что если начнется шторм, они поднимутся к нам и мы приступим к действиям, распределив роли и лекарства.

Капитан еще раз заходил к нам и снова убеждал Иллофиллиона оставить в каюте хотя бы меня одного, но ни Иллофиллион, ни я на это не согласились. Тогда он сказал, что направляется в отделение четвертого класса и приглашает нас сопровождать его, чтобы мы могли познакомиться с возможной ареной наших будущих действий. Мы с радостью приняли это предложение.

У лестницы матрос нес вахту, получив строгое распоряжение никого – ни под каким предлогом – не пропускать без нас наверх, пусть это даже будет старший помощник. Мы пошли вслед за капитаном. К нам присоединились еще два офицера и два матроса. Капитан отдал приказание вызвать еще и старшего врача, который тоже присоединился к нам. Так целой группой мы двинулись вперед.

Я был поражен не только количеством людей, но и длиной коридоров, высотой всевозможных общих комнат и роскошью, царившей всюду. Буквально все комнаты утопали в цветах. Публика из первого класса сидела в тени палубы в глубоких креслах и шезлонгах. Нарядная жизнь была ключом в каждом уголке, в воздухе разносился аромат духов и сигар.

Мы спустились в отделение третьего класса. Я ожидал встретить ту же грязь, которую видел в вагонах этого класса в русском поезде. Но сразу понял, что ошибся. Здесь было очень чисто. Правда, ноги не тонули в коврах, но полы покрывал линолеум красивых ярких расцветок. Должно быть, билеты и здесь стоили недешево, так как бедноты совсем не было видно. Мелькали студенческие фуражки, ехали целые семьи, внешний вид которых говорил об известном достатке. Общая столовая была красива, с деревянными креслами-вертушками, залитая электрическим светом; были здесь и гостиная, и читальня, и курительная комната.

Наконец мы спустились еще ниже и очутились у самой воды. Носовая часть судна была отведена под четвертый класс; крышей служило помещение третьего класса, где каюты тянулись от носа до кормы. В четвертом классе кают не было вовсе. Пассажиры были сплошь бедняки, большей частью семьи сезонных рабочих или бродячие музыканты, жалкие балаганные фокусники и петрушки. В отдельном углу расположился целый цыганский табор. Со всех сторон слышались самые разнохарактерные наречия и возгласы. Тут были торговцы, ехавшие со своим товаром и желавшие, очевидно, быть ближе к трюму, где он находился; были и конюхи, сопровождавшие лошадей, – словом, глаза разбегались, – и я снова таращил их, позабыв обо всем на свете.

– Не отставайте от меня, – услышал я повелительный голос капитана и в ту же минуту почувствовал, что Иллофиллион взял меня под руку, шепнув, чтобы я запоминал расположение помещений на пароходе, а не увлекался картинностью этого зрелища.

Я вздохнул. Столько возможностей для наблюдений, – и надо идти мимо всего, памятуя только о буре, которая то ли будет, то ли нет; и я продолжал думать, что вряд ли она случится: солнце сияло, мы все еще шли по глади, и волну гнал только наш пароход-великан.

Внезапно мы остановились. В самом неудобном месте, в носу парохода, между бочками и ящиками, на ветру, сидела до крайности измученная молодая женщина, держа на коленях ребенка лет двух, прелестного живого мальчугана, беленького, как его мать. Рядом лежала девочка лет пяти, похоже, больная. Положив головку, мертвенно бледную, на колени матери, она, очевидно, была в забытии.

– Почему вы выбрали такое неудобное место? – спросил капитан, обращаясь к женщине, на красивом лице которой изобразился ужас и глаза наполнились слезами.

– О, не выбрасывайте нас, – взмолилась она по-французски. Не понимая, видимо, английской речи капитана, она испугалась звука его повелительного металлического голоса и глядела теперь с мольбой. Капитан оглянулся, говоря, что его французский оставляет желать лучшего. Иллофиллион выдвинул меня вперед, я поклонился женщине и перевел ей вопрос капитана.

В ответ на это слезы градом покатались из ее глаз, и она объяснила, что это единственное место, где ее наконец перестали донимать жестокие спутники; что сердобольный матрос устроил ее с детьми здесь и пригрозил двум туркам, которые не давали ей проходу.

– Девочка не больна, мы только голодны; не выбрасывайте нас, мы едем к моему дяде в Константинополь. Мой муж умер, его задавило на стройке, и французская компания не желала нам ничего заплатить. Но я не могла ждать суда, мы умерли бы с голода. Пришлось все продать и кое-как добраться до Севастополя. Я отдала последние деньги за билет; не знаю, как и доедем. Но билет мой в порядке, – быстро говорила бедняжка, в полном смятении протягивая капитану билет.

Должно быть, нужда свалилась на нее внезапно. Костюм, вероятно еще совсем недавно купленный, был в пыли и пятнах; платье на детях тоже новое и тоже перепачканное в дороге. Высовывавшиеся из-под юбки ножки девочки были обуты в крохотные лакированные туфельки, совершенно не пригодные для далекого путешествия. Мольба и страх за детей, которых она прижимала к себе, слабость, отчаяние – столько чувств отражалось в глазах этого бедного создания, что у меня зашекетало в горле и, не думая, что я делаю, я наклонился и поднял девочку на руки.

– Нельзя ее здесь оставлять, – сказал я Иллофиллиону. – Уступим ей свою каюту.

– В этом мало пользы, – ответил за него капитан. – Они все нуждаются в медицинской помощи. На пароходе есть платные палаты в лазарете первого класса. Если вы можете оплатить ей дорогу в такой каюте, – она получит возможность отдохнуть, набраться сил и сойти с парохода здоровой. Ведь она сейчас упадет в обморок.

Не успел он договорить, как доктор бросился к валившейся набок женщине. Капитан дважды свистнул в висевший у него на груди свисток, и перед нами вырос здоровенный матрос.

– Разогнать толпу, – приказал ему капитан.

И точно по мановению волшебной палочки пассажиры расселись по своим местам, не дожидаясь вторичного окрика.

– Теперь – носилки, – велел капитан.

Пока ходили за носилками, Иллофиллион поинтересовался, куда и кому внести деньги за отдельную палату для бедной женщины. Капитан написал записку, передал ее доктору, приказав поместить мать с детьми в лучшую палату лазарета – каюту 1 А. Деньги следовало внести судовому кассиру, что вызвался немедленно исполнить младший из турок.

Женщина все еще не приходила в себя, и ее уложили на носилки. Матрос протянул руки, чтобы взять девочку, но она крепко обхватила мою шею руками и громко заплакала. Я прижал девочку к себе и сказал Иллофиллиону, что сам отнесу ребенка и останусь с больной матерью, пока она не придет в себя. Но Иллофиллион отрицательно покачал головой:

– Отнеси ребенка, дай матери капель из этого пузырька и немедленно возвращайся. У нас много дел. Но бедняжку мы не забудем. Сообщи ей, как нас найти, пообещай, что мы вскоре ее навестим. Капли дай ей так, чтобы никто не видел, – шепнул он мне, и я двинулся вслед за носилками.

Шли мы долго, думаю, не менее 20 минут мы все взбирались по лестницам и коридорам, обходя стороной парадные комнаты.

И чего только тут не было, в этом плавучем доме! И прачечные, и сушильня, и провиантские склады, и бельевые, и швейная мастерская, и специальное хранилище для пресной воды, и гимнастический зал и плавательный бассейн, и множество кухонь, и ледники, – я просто пришел в растерянность и один ни за что бы не нашел дороги обратно.

Каюта, куда мы наконец добрались, была вся белая, имела две койки-дивана внизу и одну наверху. Все в ней было роскошно и чисто. Пока сестра ходила за халатом для больной, а доктор прошел в аптеку, я быстро влил в стоявший на столе бокал капель, которые дал Иллофиллион, и поднес их к губам больной. Она открыла глаза, выпила лекарство и снова опустила голову на подушку.

Но я сразу заметил, что к щекам ее прилила кровь; она шевельнулась, вздохнула, а когда вошел доктор, приподнялась и спросила твердым голосом:

– Где я?

Я подал ей девочку и сказал, что она находится в лазарете, где и пробудет до конца путешествия. Я просил ее, от имени капитана, ни о чем не беспокоиться и пообещал, что найду к ней вместе с братом. Объяснив, где нас найти в случае необходимости, я перевел ей предложение доктора пойти с детьми в ванную комнату и переодеться в то, что полагается носить в лазарете.

Простившись с ней, я было решил, что мне самому ни за что не выбраться отсюда; но у выхода из лазарета увидел того же матроса-верзилу, который сопровождал носилки и ждал теперь меня, чтобы отвести обратно.

На этот раз мы добрались довольно быстро, потому что этот верзила так же летал по лестницам, как наш рыжий великан. Я нашел капитана и его спутников за работой. Вся густая толпа была разделена на женское и мужское царства. Женщин и детей поместили в середине палубы, где имелись стены из сплошных бортов. Матросы принесли железные щиты и отделили ими носовую часть палубы, чтобы уберечь слабых от сквозного ветра.

Мужская часть пассажиров, особенно цыгане, в штыки встретило распоряжение капитана отделиться от женщин. Тогда он свистнул особым манером – и точно из-под земли выросли четыре вооруженных матроса. Им капитан приказал нести здесь вахту, сменяясь каждые два часа. Еще с десятков матросов получили приказание крепко привязать к опорам весь груз и даже пассажиров, за чем остался наблюдать один из офицеров.

Мы спустились в трюм, который тоже состоял из нескольких этажей. Нижние были доверху забиты ящиками и тюками, а на верхних этажах были стойла для скота. Коров и лошадей капитан приказал стреножить. Я заметил, что в стойлах стены были обиты толстыми соломенными матрасами. Отдав еще какие-то специальные распоряжения, капитан опять поднялся в четвертый класс, и мы последовали за ним.

Здесь он обратился к мужчинам с речью, которую мы переводили на все языки, правда в основном помогали наши турки, знавшие восточные и балканские наречия. Капитан сказал, что всякого, кто будет замечен в пьянстве или игре в кости в эту ночь, немедленно посадят в карцер. Тем, у кого было с собой спиртное, он велел сдать его немедленно. Должно быть, никому не хотелось в карцер; и со всех сторон, без всякого сопротивления, пассажиры протягивали матросам бутылки и даже бутылки со спиртным. Если кто-то медлил, то под красноречивыми взглядами соседей неохотно, но все же отдавал припрятанное в дорогу. Нечего было опасаться, что кому-то удастся утаить спиртное. Теперь уже проявляли свои сыскные таланты

цыгане. Обиженные из-за того, что их разлучили с их женщинами, отдавшие водку из страха перед наказанием, они вымещали на спутниках свою досаду; и невозможно было укрыть пьянящее зелье от их зорких, пылающих глаз.

Вскоре большая корзина была доверху наполнена и унесена. Капитан добавил, что каждый имеет право передать на хранение деньги судовому кассиру – независимо от суммы – и затем получить ее, где и когда пожелает; и если желающие найдутся, – он пришлет кассира в помещение третьего класса. На этом наш обход закончился. Поднявшись в первый класс, мы расстались с капитаном и с турками, с которыми договорились встретиться в десятом часу.

Когда мы вернулись к себе в каюту, Иллофиллион дал мне еще одну пилюлю, вызывавшую омерзительное состояние. На этот раз голова не кружилась; но тошнота, стучание в висках и какое-то трепетание всего тела были, пожалуй, еще сильнее. Я сидел на диване, и мне казалось, что сейчас что-то лопнет у меня в голове и спине. Весь я покрылся испариной и снова не мог двинуть ни одним пальцем. Я будто слышал какой-то разговор, но даже не смог понять, кто это и о чем говорит.

Долго ли так лежал в забытьи, я не знал; но внезапно ощутил какую-то легкость, гибкость в теле, словно проспал несколько часов. А оказалось, что прошло только двадцать минут. Иллофиллион сказал, что сейчас подадут обед и надо с ним поторопиться, так как необходимо принять лекарство в третий раз. Я весело отвечал, что если сейчас могу горы двигать, то что же будет со мною в третий раз? Но как бы то ни было, следовало поспешить с обедом. В кармане у меня лежало письмо Флорентийца, что сжигало меня уже столько часов; и прежде всего я хотел прочесть его, о чем и заявил Иллофиллиону. Он согласился с моим нетерпеливым желанием и вышел на палубу, где нам сервировали обед. Солнце уже стояло низко, очевидно было часов семь. Я вынул письмо – и позабыл обо всем на свете, так тронули меня нежные, полные любви слова моего дивного друга.

Флорентиец писал, что мысленно следит за каждым моим шагом, и, разделенные условностью расстояния, мы все так же крепко слиты в его дружеских мыслях и любви, верность которой я имел случай не раз проверить в эти дни. Дальше он сообщал, что вынужден ограничиться коротким письмом, так как времени до отхода поезда осталось совсем немного; он просит меня быть предельно внимательным во время путешествия по морю и не отходить от Иллофиллиона, как я делал это и раньше, потому что врагам удалось пустить ищеек по нашему следу. Желая мне обрести полное спокойствие, он говорил, чтобы я не впадал в отчаяние от любых новых поворотов в собственной судьбе, а только видел перед собою одну цель: спасти жизнь брата, и был бы верен ей так, как он, Флорентиец, верен своей дружбе со мною.

Я хотел еще раз перечитать это дивное письмо, но Иллофиллион увел меня обедать, обратив мое внимание на позднее время. Мы быстро пообедали. Иллофиллион ел мало, пристально наблюдая близящийся закат. Он рекомендовал мне прилечь отдохнуть, сказав, что через полчаса даст мне третью порцию лекарства. Я задремал, но проснулся от голоса Иллофиллиона, машинально проглотил очередную пилюлю и заснул мгновенно, даже не успев ощутить, как она подействовала.

Проснулся я, как мне показалось, от толчка; на самом же деле это хлопнула дверь нашей каюты. Я поднялся, с удивлением разглядывая Иллофиллиона, который был в плаще и резиновых сапогах.

– Одевайся скорее, Левушка. Капитан прислал сказать, что буря начинается и разразится, наверное, раньше утра. Но качка так сильна, что большая половина людей уже слегла и чувствует себя очень плохо. Надо спускаться в четвертый класс и оказывать помощь.

Я стал надевать сапоги и плащ, а Иллофиллион достал две походные аптечки на крепких ремнях; одну, побольше, надел себе через плечо, другую подал мне.

– У тебя будут запасные лекарства. Возьми непременно пилюли Али и вот эти, что я вынул из твоего саквояжа; их тебе посылает Флорентиец.

И он подал мне зеленую коробочку из эмали с белым павлином на крышке.

– Взгляни, как устроены отделения аптечки, – с этими словами он отстегнул кнопку, поднял крышку твердого чехла, и я увидел три ряда пузырьков и несколько прозрачных резиновых капельниц с отметками: две капли, пять, десять. Я был поражен невиданной прозрачной резиной, но размышлять было некогда, любоваться зеленой коробочкой с павлином – тоже. Я поспешил засунуть обе коробочки в аптечку. Физически я чувствовал себя прекрасно, но казалось, что меня шатает. Иллофиллион рекомендовал мне шире расставлять ноги, потому что это качка дает о себе знать.

Мы вышли из ярко освещенной каюты, и я поразился перемене в погоде. Лил дождь, свистел ветер; вокруг была непроглядная тьма. Возле меня выросла высокая тень – это был наш матрос-верзила. Он точно прилип ко мне. Я почувствовал, что Иллофиллион взял меня под руку, и мы двинулись к зиявшей светлой дыре – трапу вниз. Здесь мы встретили наших друзей, направлявшихся к нам. У них были такие же аптечки.

Не обменявшись ни словом, мы стали спускаться.

Глава 12

Буря на море

Не успел я преодолеть и пяти ступенек, как что-то сильно толкнуло меня в спину, и я неминуемо полетел бы вниз головой, если бы мой матрос-верзила не принял меня на руки, как дети ловят мяч, и в один миг не очутился со мною на площадке, поставив меня на ноги. Я не мог сообразить, что случилось, но увидел, что Иллофиллион держит младшего турка за плечи, а отец освобождает его ногу из щели между перилами. Видимо, расставляя ноги пошире, чтобы не упасть, он каким-то образом зацепился ногой за перила и, падая, толкнул меня головой в спину, отчего я и полетел вниз. Все это было, несмотря ни на что, комично, а молодой турок имел такой несчастный и сконфуженный вид, что я, забыв про всякий такт, так и залился смехом. Верзила не смел, очевидно, хохотать в открытую, но фыркал и давился, что меня смешило еще больше.

– Аллю, – раздалось за моей спиной. – Это кто же сыскался такой смельчак, чтобы встретить эту дикую качку таким веселым смехом?

Я узнал голос капитана и увидел его площадкой ниже в мокром плаще и капюшоне.

– Так это вы, юноша, такой герой? Можно не беспокоиться, вы будете хорошим моряком, – прибавил капитан, подмигивая мне.

– Герой не я, а вот этот молодец, – сказал я капитану, указывая на нашего матроса. – Если бы не он, – пришлось бы вам меня отправить в лазарет.

– Ну, тогда бы постарался поместить вас в каюту рядом с прекрасной незнакомкой. Вы имеете большой успех у ее маленькой дочери, чего доброго и мать последует ее примеру.

Он улыбался, но улыбались только его губы, глаза были пристальны, суровы. И я вдруг как-то всем своим существом ощутил, что опасность данного момента очень велика.

Нас внезапно так качнуло, что молодой турок снова чуть не упал. Капитан взглянул на его отца и сказал, что он должен взять сына под руку, когда мы доберемся до нижней палубы; а с лестницы его сведет провожатый. По его свистку взбежал снизу матрос и стал придерживать молодого человека за талию. Спускаться было трудно, но, к своему удивлению и к большому удовольствию моего матроса-няньки, я передвигался все лучше. Молодой турок шел по-прежнему с трудом, но как только лестницы кончились и он почувствовал, что ступенек больше нет, он сразу пошел лучше, хотя и прихрамывал.

Мы остановились у основания лестницы, чтобы разделить между собой поле деятельности. Здесь был сущий ад. Ветер выл и свистел; волны дыбились уже огромные. Часть людей стонала; женщины и дети плакали в панике; лошади в трюме ржали и бились, коровы мычали, овцы блеяли, – ничего нельзя было расслышать, все сливалось в какой-то непрерывный вой, гул и грохот.

Иллофиллион потянул меня за рукав, и мы пошли в женское отделение. Увидев нас, женщины целой толпой кинулись к нам; но тотчас же многих отбросило назад – это пароход взмыл вверх и снова упал вниз, как в пропасть. Иллофиллион подходил по очереди к наиболее нуждавшимся в помощи; я набирал по его указанию нужные капли, а он вместе с матросом поддерживал головы страдалиц и я вливал им лекарство.

Зловоние здесь стояло такое, что если бы не ветер, я вряд ли смог его вынести. Постепенно мы обошли всех, и люди стали затихать и даже засыпали. Два матроса, с горячей водой, со щетками и тряпками, навели в помещении чистоту.

Мы же отправились на помощь к туркам, которые не успели управиться и наполовину, поскольку мужчин здесь было гораздо больше. Несколько человек хорошо себя чувствовали и вызвались нам помогать. Вскоре прекратились стоны и проклятия, люди и здесь стали засыпать.

Иллофиллион дал двум конюхам пучки какой-то сухой травы и велел привязать их в трюме, объяснив, что она произведет на животных такое же успокаивающее действие, как лекарство на людей. Турки остались на палубе, а мы спустились в трюм, где Иллофиллион показал, в каких местах следует привязать траву. Возвратившись, Иллофиллион предложил тем пассажирам, которые хорошо себя чувствовали, тоже принять его лекарство, говоря, что несколько часов сна подкрепят их силы и они смогут помогать остальным спутникам, когда начнется буря.

– Буря? Да разве это еще не буря?! – слышались возгласы.

– Нет, это еще не буря, а только легкая качка, – раздался рядом голос капитана. – Поэтому примите лекарство и поспите немного, если вы действительно отважны. Каждая сильная рука и храброе сердце пригодятся.

Неожиданное появление капитана и его сильный, звенящий голос произвели впечатление на помогавших нам храбрецов. Все они приняли наши чудо-капли.

Капитан спросил Иллофиллиона, сколько длится успокоительное действие его капель, и Иллофиллион ответил, что не менее шести часов люди будут спокойны. Капитан вынул часы, нажал пружину, и часы звонко отсчитали двенадцать.

– Буря начнется часа через два, быть может – три. Я решил перевести часть пассажиров из третьего класса в гостиные второго, а весь четвертый класс поместить в третий, – сказал нам капитан. – Сейчас пассажиры третьего класса освободят свои места и надо будет женщин, детей и наиболее слабых мужчин четвертого класса поместить в каюты третьего, а остальных устроить на полу в коридоре третьего класса на тюфяках. Я пришлю сюда часть команды, вы же, пожалуйста, не уходите, пока все отсюда не перейдут в третий класс. Быть может, кому-то придется помочь еще раз.

И он так же быстро исчез, как неожиданно появился. Он был повсюду; забегал на капитанский мостик, где нес вахту старший помощник, отдавал распоряжения и успевал заглянуть в каждый уголок парохода; всех ободрял и успокаивал, для всех у него находилось доброе слово.

Вскоре пришли матросы и офицер, разбудили женщин и предложили перебраться в каюты третьего класса вместе с детьми. Не обошлось без криков и истерических воплей; но все же вскоре все устроилось. Вместе с командой мы отправились будить мужчин. Здесь дело пошло лучше; мужчины мгновенно осознали опасность и быстро перебрались в отделение третьего класса, выделив для тех, кто хуже всех себя чувствовал, каюты.

Но вот снова заплакали дети; пришлось повторно давать лекарство, причем вначале Иллофиллион пристально вглядывался в детские лица, прислушивался к дыханию, – и давал новую порцию лекарства только в случае необходимости. Возле некоторых стариков-рабочих Иллофиллион задерживался и клал им, уже дремавшим, какие-то конфеты в рот.

Затем мы прошли к пассажирам, переведенным из отделения третьего класса в гостиные второго класса, и покинули их только после того, когда дали им лекарство. Здесь тоже царила паника, плакали дети и даже мужчины стонали. Но помощь Иллофиллиона скоро всех успокоила. Мы хотели остаться здесь же на дежурство, но тут пришел посланец от капитана и попросил Иллофиллиона и меня подняться в первый класс, сказав, что там умирает одна девушка.

Мы оставили турок внизу и поднялись в первый класс. Со всех сторон неслись вопли, бегали горничные и стюарды, и, пожалуй, картина человеческих страданий была здесь много отвратительнее, так как требовательность, злость и эгоизм богатых пассажиров выливались в ругательства и дурное обращение с судовой прислугой, уже сбившейся с ног.

Нас привели в каюту, где женщина с растрепанными длинными волосами стояла на коленях у изголовья ее дочери, находившейся в глубоком обмороке. Она уже ничего не соображала; рыдая и выкрикивая что-то по-итальянски, она рвала на себе волосы и ломала руки. Иллофиллион с помощью матроса поднял ее с пола, уложил на диван и велел мне дать ей пять капель, указав нужный пузырек. А сам наклонился над девушкой, которую судовой врач не мог при-

вести в чувство уже более часа. Как только я дал матери девушки лекарство, она мгновенно заснула, и я подошел к Иллофиллиону.

– Случай тяжелый, Левушка, – сказал Иллофиллион. – Надо поскорей привести ее в чувство, заглянуть в лазарет, а потом спешить на помощь капитану.

Белев матросу приподнять девушку и придерживать ее в сидячем положении, он достал из своей аптечки какое-то остро пахнущее снадобье и пустил пациентке по одной капле в каждую ноздрю. Через минуту она сильно чихнула. Иллофиллион ловко открыл ей рот, а я влил ей другие капли с помощью матроса, которому пришлось упереться коленом в диван и поддерживать меня, иначе бы я полетел на спину от нового толчка, а девушка упала бы на диван.

– Теперь здесь все будет благополучно, поспешим в лазарет, – шепнул мне Иллофиллион.

Мы поручили вошедшему доктору его пациентов; он был очень удивлен тем, что девушка спит и ровно, мирно дышит. Но Иллофиллион так спешил, что даже недослушал его слова.

Кратчайшим путем, по какой-то винтовой лестнице, мы быстро добрались до лазарета, где тоже стонали и плакали. Но мы, минуя всех, почти вбежали в палату 1 А. Бедная мать не знала, что ей делать с двумя рыдавшими детьми и готова была сама заплакать в творившемся вокруг аду. Каждый винт скрипел и визжал на свой лад; весь пароход дрожал и трясся, как будто бы был сделан из тонкого листового железа; людей кидало из стороны в сторону, иногда чуть ли не вверх ногами, и их протяжные стоны, сливаясь с воем ветра, казались завыванием нечистой силы. Почти мгновенно мы дали детям капли, а матери Иллофиллион дал какую-то пилюлю. Женщина так умоляюще взглянула на Иллофиллион, что он пожал ей руку и сказал:

– Мужайтесь. Мать должна быть примером своим детям. Ложитесь рядом с ними и постарайтесь уснуть.

И снова каким-то кратчайшим путем мы помчались на мостик к капитану. Приходится признаться, что Иллофиллион держал меня под руку, а матрос буквально подталкивал сзади, и только таким способом я мог карабкаться по лестницам и переходам. Иначе я раз десять полетел бы вниз головой и, наверное, разбился бы насмерть. Выйдя на палубу, мы оказались в сущем аду. Сверкали молнии, грохотавший гром, подобно непрерывной канонаде, сливался с воем и свистом ветра. Молнии сразу ослепили нас, и мы вынуждены были остановиться, так как в ледяной атмосфере бури даже дышать было трудно.

Мы добрались до капитанского мостика с огромным трудом. Я не успел даже опомниться, как меня обдало с ног до головы холодной водой. Я отряхивался, как пес, протирая глаза руками, и открыл их с большим усилием, но все же во тьме, сменяющейся вспышками молний, по-прежнему ничего не видел. Я чувствовал, что меня тащат сильные руки, и пошел, если только можно назвать этим словом то, что проделывали мои ноги и тело. Я поднимал ногу и тут же валился на своего матроса-няньку. Я падал назад и слышал крик Иллофиллиона: «Пригнись!». Не успевал я нагнуться, как снова валился набок. Эти несколько десятков шагов показались мне долгими, как дорога к несбыточному счастью.

Но вот я услышал, как матрос-верзила что-то крикнул, рванул меня вперед, и Иллофиллион тоже изо всех сил подталкивал мое отчаянно балансирующее тело, – и в одно мгновение мы очутились возле капитана и его помощников у руля. А в следующий момент мы оказались мокрыми, прижатыми к стенкам капитанской будки, но спасенными и не смытыми чудовищной волной.

Что произошло в следующий момент, не поддается никакому описанию. Огромная водяная стена обрушилась на пароход, так ударив по рубке, что она задрожала, а Иллофиллион с матросом бросились к рулевому колесу, которое капитан и помощники уже не могли удерживать втроем.

– Левушка, – кричал Иллофиллион, – скорее, из зеленой коробочки Флорентийца, пилюли всем, капитану первому.

Я был прижат к рубке таким сильным ветром, что стоял очень устойчиво. Это помогло мне без труда достать коробочку, но я понимал, что если снова ударит волна, мне не удержаться на ногах. Я собрал все свои силы, в воображении моем мелькнула фигура Флорентийца, о котором я неотступно думал все это время. Сердце мое вдруг забилося от радости, и так близок был ко мне в эту минуту мой друг, точно я увидел его рядом. Положительно, если бы я спал, то был бы уверен, что вижу его во сне, – так отчетливо нарисовалась мне белая фигура моего дорогого покровителя.

Я почувствовал такой прилив сил, словно мой обаятельный друг и в самом деле был рядом. Я вынул пилюли, мне стало весело, и я, смеясь, наклонился к капитану. Тот даже рот раскрыл от удивления, увидев меня смеющимся в миг ужасной опасности, чем я немедленно воспользовался, сунув ему пилюлю в рот. Точно дивная рука Флорентийца помогла мне, – я забыл о толчках, дрожании судна, ударах волн; забыл о смерти, таящейся в каждом новом порыве шторма, – я всем раздал пилюли и последним проглотил сам. Глаза привыкли, вокруг точно посветлело. Но различить, где кончается вода и начинается небо, было невозможно.

Теперь все мужчины держали руки на рулевом колесе. Мне все еще казалось, что я вижу высокую белую фигуру Флорентийца, стоящую теперь рядом с Иллофиллионом. Он словно держал свои руки на его руках. Да и команды капитана, казалось, отдавались под диктовку Иллофиллиона. Мы плыли, а вернее, ухали вниз и взлетали на горы довольно долго. Все молчали, понимая, насколько велика опасность.

– Еще один такой крен, и пароход ляжет, чтобы уже не встать, – прокричал капитан.

Должно быть, это пилюля так раззадорила меня, что я прокричал капитану в самое ухо:

– Не ляжет, ни за что не ляжет, выйдем невредимыми!

Он только повел плечами, и этот жест я воспринял как снисхождение к моему мальчишескому непониманию грозящей смерти. Между тем становилось светлее. Теперь я уже мог рассмотреть тот живой водяной ад, в котором мы плыли, если можно обозначить этим словом ужас постоянного уханья в пропасть и мгновенного взмывания в гору.

Море представляло собой белую кипящую массу. Временами вздымались высоченные зеленые стены воды, с белыми гребнями, точно грозя залить нас сразу со всех сторон и похоронить в пропасти. Но резкая команда капитана и искусные руки людей резали водяные стены, и мы ухали вниз, чтобы в который уже раз благополучно выскочить на поверхность.

Но вот я заметил, что капитан вобрал голову в плечи, крикнул что-то Иллофиллиону и налег всем телом на рулевое колесо. Мне снова почудилась высокая белая фигура Флорентийца, коснувшаяся рук Иллофиллиона, который двинул штурвал так, как хотел капитан и чего он не мог добиться от своих помощников. И пароход послушно повернулся носом вправо. Сердце у меня упало. На нас шла высочайшая гора воды, на вершине которой кружился водяной столб, казалось, подпиравший небо.

Если бы вся эта масса ударила нам в борт, судно неминуемо опрокинулось бы. Благодаря искусному маневру пароход прорезал брюхо водяной горы, и вся тяжесть обрушилась на его кормовую часть. Раздался грохот, точно выпалили из пушек; судно вздрогнуло, нос задрался вверх, точно на качелях, но через минуту мы снова шли в пене клокотавшего моря; волны были ужасны, заливали палубу, но не грозили разбить нас.

Опомнившись, я стал искать глазами Флорентийца, но понял, что это был лишь мираж, навеянный моей любовью к нему. Я настолько был полон мыслями о своем дивном друге, так верил в его помощь, что его образ померещился мне даже здесь.

– Мы спасены, – сказал капитан. – Мы вышли из полосы урагана. Качка продлится еще долго, но смертельной опасности уже нет.

Он предложил нам с Иллофиллионом пойти в каюту, чтобы отдохнуть. Но Иллофиллион ответил, что мы устали меньше него и останемся с ним до тех пор, пока опасность еще

существует. Он предложил капитану отпустить старшего помощника, уставшего больше всех, и вызвать ему замену.

Не знаю, много ли прошло времени. Становилось все светлее; буря была почти так же сильна, но мне казалось, что лицо капитана прояснилось. Он был измучен, глаза ввалились, лицо было бледно до синевы, но прежней суровости в нем уже не было.

Иллофиллион взглянул на меня и велел дать всем по пилюле из черной коробочки Али. Я думал, что качка уже не так сильна, отделился от угла, где стоял все это время, и непременно упал бы, если бы Иллофиллион меня не поддержал. Я очень удивился. Несколько часов назад я так легко раздал всем лекарство в самый разгар урагана; а теперь без помощи не смог бы обойтись, хотя стало гораздо тише. С большим трудом я подал всем по пилюле, с неменьшими трудностями проглотил ее сам и едва вернулся на прежнее место.

Теперь я увидел, что в углу был откидной стул. Я опустил сиденье и сел в полном недоумении. Почему же в разгар бури, когда мне мерещился Флорентиец, я двигался легко, а теперь не могу сделать и шага, да и сижу с трудом, держась крепко за поручни. Неужели одна только мысль о дорогом друге, которого я всю ночь звал на помощь, помогла мне сосредоточить волю? Я вспомнил, какое чувство радости наполнило меня; каким я сознавал себя сильным; как смеялся, давая капитану пилюлю, – а вот теперь расслабился и стал обычным «Левушкой – лови ворон».

Ветер уже не выл непрерывно, и люди, стоявшие у руля, перекидывались словами, не напрягая голоса до крика. Правда, было все еще очень холодно. И если бы, садясь на пароход, мы не жарились на солнце, я не поверил бы, что мы плывем по южному морю.

Послышались шаги, и перед нами выросли две фигуры в плащах и кожаных высоких сапогах. Это оказались младший помощник и матрос, посланные старшим помощником на смену себе и нашему матросу-верзиле.

Внизу среди пассажиров так был нужен каждый человек, что капитан передал свое место новому своему помощнику, взял с собой только что поднявшегося к нему матроса и ушел вниз, сказав, что скоро вернется. Он предлагал и мне пойти с ним, назвав меня храбрецом и героем, но я хорошо знал, как я героичен, когда предоставлен самому себе, и решительно отказался.

Картина моря так менялась, что оторваться от ее лицезрения было бы жаль. Становилось совсем светло; ветер разорвал черные тучи, и кое-где уже проглядывали участки голубого неба. Иногда ветер почти стихал и слышался только шум моря, которое стало совершенно черным, с яркими белыми хребтами на высоких волнах. Качка все еще была сильная, идти мне было трудно; и я удивился, как легко все это делал Иллофиллион. За что бы он ни взялся, думалось мне, – все он делает отлично.

Я представил его вдруг – ни с того ни с сего – за портняжным столом, и так это было смешно и глупо, что я залился смехом. Иллофиллион поглядел на меня не без удивления и сказал, что уже второй раз мой героизм проявляется смехом.

– Отнюдь не героизм заставил меня смеяться, – ответил я, – а только моя глупость. Я вдруг представил вас портным и решил, что и в этой роли вы были бы совершенны. Но игла и нитка в ваших руках выглядели бы так смешно, что я просто не могу не хохотать, – ответил я со смехом.

Мы подошли к корме, и мой смех сразу оборвался, я замер на полуслове.

Море точно разрезали ножом на две неравные части. Сравнительно небольшое пространство, по которому мы двигались, было черным, в белой пене, но не страшным. Но за этой черной полосой начинались высочайшие водяные горы; стены зеленой воды с белым верхом налетали друг на друга, точно великаны в схватке; постояв мгновение в смертном объятии, они валились в пропасть, откуда на смену им взметались новые водяные горы-чудища.

– Неужели мы выбрались из этого ада? – спросил я. – Неужели смогли выйти живыми?

Мне страстно хотелось спросить, думал ли Иллофиллион о Флорентийце в самую страшную минуту нынешней ночи; но мне было стыдно признаться в своей детскости, в игре фантазии, принявшей мысленный образ друга, несколько раз спасавшего мне жизнь за это короткое время, за истинное видение. Я взывал и сейчас всем сердцем к нему и думал о нем больше, чем о брате и даже о самом себе.

Иллофиллион стоял молча. На его лице было такое безмятежное спокойствие, такая глубокая чистота и радость светились в нем, что я невольно спросил, о чем он думает.

– Я благословляю жизнь, мой мальчик, даровавшую нам сегодня возможность дышать, любить, творить и служить людям со всем напряжением сил, всей высотой чести. Благослови и ты свой новый день. Осознай глубоко, что ночью мы могли погибнуть, если бы нас не спасли милосердие жизни и самоотверженность людей. Вдумайся в то, что этот день – твоя новая жизнь. Ведь сегодня ты мог уже и не стоять здесь. Привыкни встречать каждый расцветающий день, как день новой жизни, где только ты, ты один делаешь запись на чистом, новом листе. В течение этой ночи ты ни разу не испытал страха; ты думал о людях, жизнь и здоровье которых были в опасности. Ты забыл о себе.

– О, как вы ошибаетесь, Лоллион, – воскликнул я, назвав его в первый раз этим ласкательным именем. – Я действительно не думал ни о себе, ни об опасности. Но размеры опасности я понял только сейчас, когда смотрю на этот ужас позади нас, на эту полосу урагана, из которой мы вырвались. О людях я не думал, я думал о Флорентийце, о том, как бы он отнесся к моим поступкам, если бы был рядом. Я старался поступать так, точно он держал меня за руку. И я так полон был этими мыслями, что он даже пригрезился мне в ту минуту, когда на нас обрушился тот страшный вал. Я будто увидел его, ощутил его присутствие, и потому так радостно смеялся, чем удивил капитана и, вероятно, вас. Поэтому не думайте обо мне лучше, чем я есть на самом деле.

– Твой смех меня не удивил, как и твоя бодрость ночью. Я понял, что ты видишь перед собой образ Флорентийца, и знаю теперь, как велика твоя привязанность к нему. Думаю, что если твоя верность ему не поколеблется, – ты в жизни пройдешь за ним далеко. И когда-нибудь станешь сам такой же помощью и опорой людям, какой стал он для тебя, – ответил мне Иллофиллион.

Здесь, на корме, было видно, как продолжала бушевать буря. Шум моря все еще походил на редкие выстрелы из пушек, и говорить приходилось очень громко, пригибаясь к самому уху собеседника. От страшной полосы урагана мы уходили все дальше; и теперь – издалека – это зрелище было еще более ужасающим. Если бы художник видел то, что видели сейчас мы и изобразил бы на полотне такую необычайную картину моря, – точно искусственно разделенного на черные, грозные, но не слишком опасные волны и волны, подобные зеленым водяным горам, несущим смерть, – каждый непременно подумал бы, что художник просто бредил и излил на полотно бред своей больной души.

Трудно было оторваться от этого устрашающего зрелища. Молнии и ливень прекращались и в полосе урагана, но небо было все еще черным, и странно поражали лоскутки синего бархата, мелькавшие кое-где на фоне темных туч.

Позади раздался голос капитана, шагов которого мы не слышали.

– Двадцать лет плаваю, – говорил он, – обошел все океаны, видел немало бурь, бурь тропических. Но ничего подобного сегодняшней ночи не переживал, и никогда смерчей такой силы и количества видеть не приходилось. Смотрите, смотрите, – вдруг громко закричал он, повернувшись налево и указывая на что-то рукой. На гигантской водяной горе стояло два белых, кипящих столба, вершины которых уходили в небо.

Капитан бросился к рубке, я хотел было бежать за ним, но Иллофиллион удержал меня, сказав, что этот смерч хоть и отразится на нас, но все же пройдет мимо и гибелью нам не грозит. Присутствие капитана на мостике необходимо; но в нашей помощи нужды уже нет.

Смерч действительно несея мимо; но вдруг я увидел, как из водяной стены справа стала подниматься, вращаясь колесом, струя воды и через минуту вырос и на ней огромный водяной столб. Он понесся навстречу двум таким же столбам, двигавшимся слева, и вдруг все три столба столкнулись; раздался грохот, подобный сильнейшему удару грома, – и на месте их слияния образовалась пропасть.

Линия, разделявшая море на две части, разметалась; волны-стены точно ринулись в погоню за нами. Это было так страшно, что я с удивлением смотрел на Иллофиллиона, не понимая, почему он не бежит на помощь тем, кто стоял у руля. Но он молча взял меня за руку и повернул лицом вперед. И я с удивлением обнаружил очистившееся небо, очертания берегов вдалеке.

– Капитан прав, что бросился к рулю. Волны опять будут сильно бить нас, и сейчас подходить к берегам нельзя. Быть может, мы даже минуем ближайший порт, если на пароходе достаточно угля, воды и провианта, и пойдем дальше. Но от гибели мы ушли, – сказал Иллофиллион. – Такие ураганы вряд ли повторяются дважды. Хотя море, по всей вероятности, еще не менее недели будет бурным.

Я начинал ощущать, что качка опять становится сильнее; море вновь закипало и грозно шумело, и ветер налетал свистящими шквалами. Но до высоты гор волны больше не поднимались.

Мы подошли к капитану, смотрящему на окрестности в подзорную трубу. Он приказал немедленно позвать старшего офицера с полным отчетом о состоянии запасов. Когда явился старший помощник и доложил, что пароход может плыть еще двое суток ни в чем не нуждаясь, капитан приказал миновать порт и держать курс в открытое море. Мне оставалось только в сотый раз изумляться прозорливости Иллофиллиона.

Как бы ни волшебным было действие подкрепляющих средств Али и Флорентийца, все же наши силы подходили к концу. Все, кто провел ночь на палубе, стали похожи на привидения при свете серого дня. Один Иллофиллион был бледен, но бодр. Капитан же буквально валился с ног.

Передав командование судном двум помощникам и штурману, он велел предоставить матросам усиленный рацион и дать им выспаться. Нас он пригласил в свою каюту, где мы обнаружили прекрасно сервированный стол. Как только я сел в кресло, то почувствовал, что встать у меня нет больше сил. И я совершенно не помню, что было дальше.

Очнулся я у себя в каюте свежим и бодрым, забыв полностью обо всем и не понимая, где я. Так лежал я около получаса, пока не начал вспоминать, что со мной происходило. Наконец соображение вернулось ко мне, я вспомнил все ужасы ночи. Теперь же сияло солнце. Я встал, оделся в белый костюм, приготовленный, очевидно, заботливой рукой Иллофиллиона, и собрался отыскать его и поблагодарить за внимание и заботу. Я никак не мог связать всех событий вместе и понять, каким же образом оказался в каюте. Мне было стыдно, что я так долго спал, в то время как Иллофиллион, вероятно, уже кому-нибудь помогает.

В эту минуту открылась дверь, и мой друг, сияя безукоризненным костюмом и свежестю, вошел в каюту. Я так обрадовался, словно не видел его целый век, и бросился ему на шею.

– Слава богу, наконец-то ты встал, Левушка, – сказал он, улыбаясь. – Я уже решил было применить пожарную кишку, зная твою любовь к воде.

Оказалось, я спал более суток. Я никак не мог поверить этому, все переспрашивая, который же был час, когда я заснул. Иллофиллион рассказал, как ему пришлось перенести меня на руках в каюту и уложить спать голодным. Есть я сейчас хотел ужасно; но ждать мне не пришлось, так как в дверях появился сияющий верзила и сказал, что завтрак подан.

Глядя на меня и улыбаясь во весь рот, он подал мне записку, тихонько шепнув, что это из каюты 1 А; записку передала красивая дама и очень просила зайти к ней.

Я смутился. Это была первая записка от женщины, которую мне так таинственно передавали. Я прекрасно знал, что в записке этой не может быть ничего такого, чего бы я не мог прочесть даже первому встречному, не только Иллофиллиону. И я злился на свою неопытность, неумение владеть собой и вести себя так, как подобает воспитанному человеку, а не краснеть, как мальчишка. Снова маленькое словечко «такт», которое буря выбила было из моей головы, мелькнуло в моем сознании. Я вздохнул и приветствовал его как далекую и недостижимую мечту.

Глуповатая ухмылка матроса, почесывавшего подбородок и лукаво поглядывавшего на меня, была довольно комична. Казалось, он одно только и думал: «Ишь, отхватил лакомый кусочек, и когда успел?»

Всегда чувствительный к юмору, я залился смехом, услышал, что приснул и матрос; с нами смеялся и Иллофиллион, наблюдая на моем лице все промелькнувшие в моей голове мысли, которые он так великолепно умел прочитывать. Моя физиономия в сочетании с ухмыляющимся лицом матроса рассмешили бы и самого сурового человека. У Иллофиллиона был вид лукавого заговорщика, и он поблескивал глазами не хуже желтоглазого капитана.

Я положил записку в карман и заявил, что умру с голоду, если меня не накормят тотчас же. И крайне был поражен, узнав, что уже два часа дня.

Мы сели за стол. Я уплетал все, что мне подставлял Иллофиллион, а он, смеясь, говорил, что впервые в жизни кормит тигра.

К нам подошел капитан. Радостно поздоровавшись, он заявил, что никогда еще не видел человека, который хохотал бы во всю мочь в момент, когда со всех сторон подступает смерть.

– Я создам новую морскую легенду, – сказал он. – Есть легенда о Летучем Голландце, о страшном вестнике гибели для моряков. Есть легенда о Белых братьях, несущих спасение гибнущим судам. Но легенды о веселом русском, смеющемся во весь рот в минуты грозной опасности и раздающем людям пилюли, поддерживающие силы, еще никто не придумал. Я расскажу в рапорте начальству о той помощи, которую вы с братом оказали команде и всем пассажирам парохода в эту ночь. О вас, мой молодой герой, я поведаю особо, потому что пример такого дерзновенного бесстрашия – это уже неординарное явление.

Я сидел покрасневший и вконец расстроенный. Я хотел сказать капитану, как сильно он ошибается, ведь я просто шел на помочах у Иллофиллиона, которому был скорее обузой, чем помощью. Но Иллофиллион, незаметно сжав мне руку, ответил капитану, что мы очень благодарны за столь высокую оценку наших ночных подвигов. Иллофиллион напомнил, что турки не менее нашего трудились во время бури.

– О да, – ответил капитан. – О них я, конечно, тоже не забуду. Они тоже проявили героизм и самоотверженность. Но находиться внутри парохода или быть на палубе, ежеминутно рискуя быть смытым волной, – огромная разница. Вы далеко пойдете, юноша, – снова обратился он ко мне. – Я могу составить вам протекцию в Англии, если вы вдруг решите переменить карьеру и сделаться моряком. С таким даром храбрости вы очень скоро станете капитаном. Ведь вам теперь всюду будет сопутствовать слава неустрашимого. А это – залог большой морской карьеры.

Поблескивая своими желтыми кошачьими глазами, он протянул мне бокал шампанского. Я не мог не принять бокал, рискуя показаться неучтивым. Затем капитан подал бокал Иллофиллиону и провозгласил тост за здоровье храбрых. Мы чокнулись; он осушил бокал с шампанским единым духом, хотел было налить еще, но его отозвали по какому-то экстренному делу.

У нас не было особого желания пить шампанское в такой жаркий день. Иллофиллион велел матросу-верзиле, принесшему мороженое, отнести серебряное ведро с шампанским в каюту капитана, а мне сказал:

– Надо пойти к нашим друзьям, если они сами сейчас не поднимутся. Оба они несколько раз заходили сюда справляться о твоём здоровье. Да и по отношению к даме надо проявить вежливость. Прочти же записку, – прибавил он, улыбаясь. Я только успел опустить руку в карман, как послышались голоса, – и к нашему столу подошли турки.

Оба они поприветствовали меня и порадовались, что буря не повредила мне. Старший приподнял феску на голове сына, и я увидел, что большой участок его головы выбрит и на него наложена повязка, заклеенная белой марлей: он ударился головой о балку, когда волна подбросила пароход. Повязку, как оказалось, накладывал Иллофиллион; и мазь была такой целебной, что при сегодняшней перевязке рану можно было уже заклеить. Турки пробыли с нами недолго и пошли завтракать вниз, в общую столовую.

Наконец я достал письмо и разорвал конверт.

Глава 13

Незнакомка из каюты 1А

Письмо было адресовано «Господину младшему доктору». Оно носило такое же обращение и было написано по-французски. Я стал читать вслух:

«Мне очень совестно беспокоить вас, господин младший доктор. Но меня крайне волнует состояние моей девочки; да и маленький что-то уж очень много плачет. Я вполне понимаю, что мое обращение к Вам не совсем деликатно. Но, Боже мой, Боже, – у меня нет во всем мире ни единого сердца, к которому я бы могла обратиться в эту минуту. Я еду к дяде, от которого уже полгода не имею известий. Я даже не уверена, жив ли он? Что ждет меня в чужом городе? Без знания языка, без умения что-либо делать, кроме дамских шляп. Я гоню от себя печальные мысли; хочу быть храброй; хочу мужаться ради детей, как мне велел господин старший доктор. О Вашей храбрости говорит сейчас весь пароход. Пожалуйста, заступитесь за меня. В соседней с нами каюте поместилась важная старая русская княгиня. Она возмущается, что кто-то посмел поместить в лучшую каюту меня, – «нищенку из четвертого класса», и требует, чтобы врач нас выкинул. Я не смею беспокоить господина старшего доктора или капитана. Но умоляю Вас, защитите нас. Упросите важную княгиню позволить нам ехать и дальше в нашей каюте. Мы ведь никуда не выходим; у нас все, даже ванная, отдельное, и мы ничем не тревожим покой важной княгини. С великой надеждой, что Ваше юное сердце будет тронутو моей мольбой, остаюсь навсегда благодарная Вам Жанна Моранье».

Я старался читать спокойно это наивное и трогательное письмо; но раза два мой голос дрогнул, а лицо бедняжки Жанны с бегущими по щекам слезами так и стояло передо мной. Посмотрев на Иллофиллиона, я увидел знакомую суровую складку на его лбу, которую замечал не раз, когда Иллофиллион на что-либо решался.

– Этот дуралей, наш верзила, вероятно, протаскал письмо целый день, сочтя его любовным и потому скрывая его от меня, – задумчиво сказал он. – Пойдем сейчас же, разыщем капитана, и ты переведешь ему это письмо. Возьми и наши аптечки; обойдем заодно и весь пароход.

Мы повесили через плечо аптечки и отправились искать капитана. Мы нашли его в судовой канцелярии и рассказали, в чем дело. Я видел, как у него сверкнули глаза и передернулись губы. Но он сказал только:

– Еще десять минут, – и я иду с вами.

Он указал на кожаный диванчик рядом с собой и продолжал слушать доклады подчиненных о том, что сделано «согласно его распоряжениям» – для починки судна и помощи пассажирам.

Ровно через десять минут – точно, ясно, не роняя ни одного лишнего слова, – он отпустил всех и вышел с нами в отделение лазаретных кают первого класса. Мы поднялись по уже знакомой мне узкой винтовой лестнице и вышли прямо к дверям каюты 1 А.

В коридоре столпился народ; слышались спокойный и твердый голос врача, видимо, кому-то возражавшего, и визгливый женский голос, говоривший на отвратительном английском языке:

– Ну, если вы не желаете ее отсюда убрать, то я это сделаю сама. Я не желаю, чтобы рядом со мной ехала какая-то нищая тварь! Вы обязаны делать все, чтобы не волновать пассажиров, заплативших за проезд такие огромные деньги!

– Я повторяю, что таково распоряжение капитана, а на пароходе он царь и бог, а не я. Кроме того, это не тварь, – и я очень удивлен вашей малокультурной манере выражаться, – а премилая женщина. И за проезд в этой каюте она уже все сполна заплатила; вы же под предлогом продолжающегося расстройства нервов не заплатили еще ничего, – снова раздался спокойный голос врача.

– Да как вы смеее со мной так разговаривать? Вы грубый человек. Я не стану ждать, пока вы соблаговолите убрать отсюда столь приглянувшуюся вам девку. Вы хотите удобно устроиться и иметь рядом развлечение за казенный счет. Я пойду и сама выгоню ее! – визгливо кричала княгиня.

Доктор вспыхнул:

– Это бог знает что! Вы говорите не как аристократка, а...

Тут капитан выступил вперед и стал спиной к двери каюты 1 А, к которой подошла старая грузная женщина, раскрашенная, как кукла, в золотистом завитом парике, в нарядном сером шелковом платье, увешанная золотыми цепочками с лорнетом, медальоном и часами. Толстые пальцы ее рук были унизаны драгоценными кольцами.

Эта молодящаяся старуха была тем отвратительнее, что самостоятельно передвигаться на своих ногах не могла. С одной стороны ей помогал молодой еще человек в элегантном костюме, с очень печальным лицом; с другой, кроме палки, на которую она опиралась, княгиню поддерживала ее горничная в синем платье и элегантном белом переднике, с белой наколкой на голове.

Не зная капитана в лицо и увидев морского офицера с двумя молодыми людьми у дверей той каюты, куда она так хотела пройти, она еще пронзительнее взвизгнула и, грозно стуча палкой об пол, закричала:

– Я буду жаловаться капитану. Это что за дежурство перед дверью развратной твари? У меня молодой муж; здесь слишком много молодых девиц. Это разврат! Сейчас же уходите. Я сама распоряжусь убрать эту...

Она не договорила, ее перебил капитан. Он вежливо поднес руку к фуражке и сказал:

– Будьте любезны предъявить ваш билет на право проезда в каюте номер 2 лазарета, которую, как я вижу, вы занимаете. Я капитан.

Он свистнул особым способом, и вбежали два дюжих матроса.

– Очистить коридор от посторонних, – приказал капитан.

Приказание, отданное металлическим голосом, было незамедлительно выполнено. Толпа любопытных мгновенно исчезла, остались только старуха со своими спутниками, врач, сестра милосердия и мы. Княгиня нагло смотрела на капитана маленькими злыми глазками, очевидно считая себя столь важной персоной, перед которой все должны падать ниц.

– Вы, должно быть, не знаете, кто я, – все также визгливо и заносчиво сказала она.

– Я знаю, что вы путешествуете на вверенном мне пароходе и занимаете каюту первого класса номер 25. Когда вы сажались на пароход, вы читали правила, которые гласят, что во время пути все пассажиры, наравне с командой, подчиняются капитану. Также были расклеены объявления о том, что на пароходе имеются лазаретные каюты за особую плату. Вы сейчас находитесь здесь. Предъявите ваш добавочный билет, – ответил ей капитан.

Старуха гордо вскинула голову, заявив, что не о билете должна идти речь, а об особе, находящейся в соседней с нею каюте.

– В лучшей каюте, со всеми отдельными удобствами, доктор разместил свою приятельницу, откопав ее в трюме. Я, светлейшая княгиня, требую немедленного удаления ее в первоначальное помещение, как раз ей соответствующее, – повышенным тоном говорила старуха на своем отвратительном английском.

– Понимаете ли вы, о чем я вас спрашиваю, сударыня? Я у вас спрашиваю билет на право проезда здесь, в этой каюте. Если вы его не предъявите сейчас же, будете незамедлительно водворены в свою каюту и, кроме того, заплатите тройной штраф за безбилетный проезд в лазарете.

Голос капитана, а особенно угроза штрафа, очевидно, затронули самую чувствительную струну жадной старухи. Она вся побагровела, затрясла головой, что-то хотела сказать, но задохнулась от злости и только хрипло кашляла.

– Кроме того, нарушение правил и распоряжений капитана, оспаривание его приказаний считаются бунтом на корабле. И если вы позволите себе продолжать этот спор и стучать палкой, нарушая тем самым покой больных, я велю этим молодцам посадить вас в карцер.

Теперь и сама старуха струсила, не говоря о ее молодом муже, который, очевидно, был убит, оказавшись в центре разыгравшегося скандала, и не мог не понимать, что поведение его жены позорно.

Капитан приказал открыть дверь каюты номер 2, где обосновалась княгиня. От картины, представшей нашим глазам, я чуть не покатился со смеху. На самом видном месте валялось дамское белье, постели были взъерошены, будто на них катались и кувыркались. Всюду, на столе, стульях, на полу, были раскиданы принадлежности мужского и дамского туалета, вплоть до самых интимных.

– Что это за цыганский табор? – вскричал капитан. – Сестра, как могли вы допустить нечто подобное в лазарете?

Сестра, пожилая англичанка, полная сознания собственного достоинства, отвечала, что посещала каюту три раза и дважды посылала сюда убирать коридорную прислугу, но что через час все снова принимало вид погрома.

В довершение ко всему выяснилось, что проезд в каюте лазаретного отделения княгиня так и не оплатила. На новый свисток капитана явился младший офицер, получивший приказание водворить княгиню в ее каюту, взыскать с нее, как с безбилетного пассажира, тройную штрафную плату за две лазаретные койки, а также немедленно убрать каюту.

– Я буду жаловаться вашему начальству, – прохрипела старуха.

– А я пожалуюсь на вас не только своему начальству, но еще и русским властям. И расскажу великому князю Владимиру, который сядет к нам в следующем порту, о вашем поведении.

Тут к старухе подошел младший офицер и предложил ей следовать за ним в первый класс. В бессилье она сорвала злобу на своем супруге и горничной, обозвав их ослиами и идиотами, не умеющими поддержать ее когда следует. Похожая на чудовище из дантова ада, с трясущейся головой, хрипло кашляя, княгиня скрылась в коридоре, сопровождаемая своими спутниками.

Капитан простился с нами, попросив от его имени уверить госпожу Жанну Моранье, что на его судне она в полной безопасности, под охраной английских законов. Он просил нас также еще раз обойти пассажиров четвертого и третьего классов, потому что вечером, после обеда, их снова разместят на прежних местах, предварительно проведя полную уборку всего парохода.

Мы постучали в каюту 1 А. Мелодичный женский голос ответил нам по-французски: «Войдите», и мне показалось, что в этом голосе слышатся слезы. Когда мы вошли в каюту, то первое, что я увидел, действительно были слезы, лившиеся по щекам бедной женщины; дети прижимались к ней в испуге, обхватив ее шею ручонками.

Все они сидели в углу дивана, и их позы выражали такой страх, такое отчаяние, что я остановился как вкопанный, превратившись сразу в «Левушку – лови ворон». Иллофиллион подтолкнул меня и шепнул, чтобы я взял девочку на руки и успокоил мать. Убедившись, что мы пришли поддержать ее, Жанна несколько раз переспрашивала, неужели и до самого Константинополя она доедет с детьми в этой каюте. Счастью ее не было предела. Она смотрела на Иллофиллиона так, как смотрят на иконы, когда молятся. А ко мне она обращалась как к брату, который может защитить здесь, на земле.

Девочка повисла на мне и не слушала никаких резонов матери, уговаривавшей ее сойти с моих колен. Она целовала меня, гладила волосы, жалея, что они такие короткие, говорила, что я ей снился во сне и что она больше не расстанется со мною, что я ее чудесный родной дядя, что она так и знала, что добрая фея обязательно меня им пошлет. Вскоре и малыш перекочевал ко мне; и началась возня, в которой я не без удовольствия участвовал, подзадоривая малюток ко всяким фокусам. Мать, вначале старавшаяся унять детей, теперь весело смеялась

и, по-видимому, не прочь была бы принять участие в нашей возне. Но присутствие иконы – Иллофиллиона настраивало ее на более серьезный лад.

Иллофиллион расспросил, что ели дети и она сама. Оказалось, что после утреннего завтрака они еще ничего не ели, так как взбесившаяся соседка стала требовать, чтобы их выгнали из каюты; время этого скандала они умирали от страха, и мы застали самый финал этой трагикомедии. Иллофиллион сказал, что если она хочет, чтобы здоровье ее самой и детей восстановилось до приезда в Константинополь, то им всем следует поест и лечь спать. Он полагал, что у девочки хоть и в легкой степени, но все же перемежающаяся лихорадка, а это значит, что сегодня она выглядит здоровой, но завтра снова может наступить пароксизм. У матери расширились от ужаса глаза. Иллофиллион успокоил ее, сказав, что даст ей капель и что им всем надо проводить почти весь день на палубе, лежа в креслах, тогда они вылечатся от последствий истощения. Он попросил Жанну сейчас же покормить детей и добавил, что мы обойдем пароксизм и вернемся через часа два. Тогда они все получат лекарство, и мы побеседуем. Мы вышли, попросив сестру получше накормить мать и детей. Очевидно, это была добрая женщина; дети потянулись к ней, и мы ушли успокоенные.

Не успели мы пройти и нескольких шагов, как нас встретил врач, прося зайти в первый класс к той девушке, которую мы так хорошо вылечили.

– Дочь и мать, проспав всю бурю, сейчас свежи, как розы. Они жаждут видеть врача, чтобы поблагодарить его за помощь, – сказал судовой доктор.

Мы пошли за ним в каюту и встретили там двух брюнеток, очень элегантно одетых; они сидели в креслах за чтением книг, ничем не напоминая те растрепанные фигуры, которые видели мы в страшную ночь бури.

Когда судовой врач представил нас, старшая протянула обе руки Иллофиллиону, сердечно благодаря его за спасение. Она быстро сыпала словами, со свойственной итальянцам экспансивностью, и я половины не понимал из того, что она говорила. Молодая девушка не была красива, но ее огромные черные глаза были так кротки и добры, что стоили любой классической красоты. Она тоже протянула каждому из нас обе руки и просила позволить ей чем-либо отблагодарить нас.

Иллофиллион ответил, что лично нам ничего не надо, но если они желают принять участие в добром деле, мы не откажемся от их помощи. Обе дамы выразили горячее желание сделать все, что необходимо; Иллофиллион рассказал им о бедной француженке-вдове с двумя детьми, которую капитан спас от мучений, укрыв с больными детьми в лазаретной каюте. Обе женщины были глубоко тронуты судьбой бедной вдовы и потянулись было за деньгами. Но Иллофиллион сказал, что денег ей дадут, а вот одежды и белья у бедняжки нет.

– О, это дело самое простое, – сказала младшая. – Обе мы умеем хорошо шить; тряпок у нас много, мы оденем их преотлично. Вы только познакомьте нас со своею приятельницей, а остальное предоставьте нам.

Иллофиллион предостерег их, что бедняжка запугана. Вкратце он рассказал им о возмутительной выходке старой княгини. Женщины искренне негодовали и сказали Иллофиллиону, что не все же дамы думают и чувствуют как мегеры.

Мы условились, что позже зайдём за ними и проводим к Жанне.

На прощанье Иллофиллион велел достать черную коробочку Али, разделил пилюлю на 8 частей, развел в воде одну порцию и дал девушке выпить, посоветовав ей полежать до нашего возвращения.

Мы спустились в отделение третьего класса. Здесь было уже все прибрано, нигде не было видно и следов бури; но люди почти все еще лежали, не имея сил двигаться, только несколько турок были уже бодрыми. Но после принятия наших капель они стали вставать, потягиваться и выходить на палубу.

Вскоре все каюты опустели. И когда явился офицер с требованием, чтобы пассажиры четвертого класса перешли на свои места, они с шутками, часто грубоватыми, отправились занимать свои места.

После этого мы прошли к пассажирам третьего класса, но встретились там с двумя турками, которые уже сделали среди них обход. Тогда мы вместе с ними отправились в отделение второго класса, где было много людей, неважно себя чувствовавших. Почти все они лежали и не могли есть, и наши лекарства очень пригодились.

Войдя в отделение первого класса, мы нашли здесь картину всеобщего негодования. Окажется, разбушевавшаяся еще в лазарете княгиня теперь так грубо срывала свое бессильное бешенство на своем муже и горничной, что соседи по каютам возмутились ее поведением. Слово за слово, разгорелся скандал, в самый разгар которого мы пришли. Увидя нас, старуха подумала, что мы снова идем с капитаном, испугалась и ретировалась в свою каюту, захлопнув за собой дверь. Этому сопутствовал общий смех.

Публика здесь чувствовала себя лучше, но в некоторых каютах находились больные. К нам подошел какой-то пожилой человек. Очевидно, он очень тяжело перенес бурю; весь желтый, с мешками под глазами, он попросил нас посетить его дочь и внука, за состояние которых он боялся.

Мы прошли с ним в каюту и увидели в постели бледную женщину с длинными русыми косами и мальчика лет восьми; казалось, он был тяжело болен. Пожилой человек обратился к дочери по-гречески; она открыла глаза, поглядела на Иллофиллиона, склонившегося над ней, и сказала ему тоже по-гречески:

– Мне не пережить этого ужасного путешествия. Не обращайтесь на меня внимания. Спасите, если можете, сына и отца. Я не могу думать без ужаса, что будет с ними, если я умру, – и слезы полились из ее глаз.

Иллофиллион велел мне капнуть в рюмку каплю из темного пузырька и сказал:

– Вы будете завтра совершенно здоровы. У вас был сердечный приступ; но буря утихла, приступ прошел и больше не повторится. Выпейте эти капли, повернитесь на правый бок и засните. Завтра будете полны сил и начнете ухаживать за своими близкими. А сегодня мы сделаем это за вас.

Он приподнял ее голову с лицом бледным, как у античной статуи, и влил ей в рот каплю. Затем помог ей повернуться, накрыл одеялом и подошел к мальчику.

Мальчик был так слаб, что с трудом открыл глаза; он, казалось, ничего не понимал. Иллофиллион долго держал его тоненькую ручку в своей, прислушиваясь к дыханию, и наконец спросил:

– Он давно в таком состоянии?

– Да, – ответил старик. – Судовой врач уже несколько раз давал ему всякие лекарства, но ему все хуже и хуже. С самого начала бури он впал в состояние полубоморока, оно не проходит. Неужели он должен умереть?

Голос старика задрожал и он отвернулся от нас, закрыв лицо руками.

– Нет, до смерти еще далеко. Но почему вы не закалили его физкультурой? Он хилый и слабый не потому, что болен, а потому что вы изнежили его. Если хотите, чтобы ваш внук жил, – держите его на свежем воздухе, научите верховой езде, гребле, гимнастике, плаванию. Ведь вы губите ребенка, – сказал Иллофиллион.

– Да-да, вы правы, доктор. Но мы так несчастливы, мы внезапно потеряли сразу всех своих близких и теперь трясемся друг над другом, – все с той же горечью отвечал старик.

– Если вы будете и дальше оберегать друг друга таким способом, – вы все недолго проживете. Вам надо по-другому воспитывать внука, да и всем вам надо начать новую жизнь. Если вы согласны следовать моему методу, – я отвечаю за жизнь мальчика и начну его лечить. Если выполнять моих предписаний не будете, – я не стану и начинать, – продолжал Иллофиллион.

– Я отвечаю вам головой, что все будет выполнено в точности, – твердо сказал старик.

– Ну, тогда начнем.

Иллофиллион сбросил с мальчика одеяло, стянул с его худеньких ног теплые чулки, снял фуфайку и потребовал другую сорочку. Пока он переодевал ребенка, я по его указанию растворил в половине стакана воды кусочек пилюли из зеленой коробочки Флорентийца и еще меньшую часть пилюли из черной коробочки Али. Как только лекарство смешалось, вода в стакане точно закипела и стала совершенно красной. Иллофиллион взял у меня стакан, накапал туда еще капель из каких-то особых трех пузырьков и стал вливать лекарство в рот мальчику крошечной ложечкой. Поддерживая голову ребенка, я сначала подумал, что он не сможет проглотить ни капли. Но последний глоток мальчик даже допил прямо из стакана. После этого я осторожно опустил ребенка на подушку. Иллофиллион велел мне достать самый большой флакон из аптечки, вымыл руки, и я последовал его примеру. Затем он велел мне вытянуть руку мальчика и держать ее ладонью вверх, а сам стал массировать ее жидкостью из флакона от ладони до плеча, каждый раз энергично растирая ладонь. Рука ребенка из совершенно белой стала розовой, а затем покраснела. То же самое он проделал с другой рукой, потом с ногами и растер наконец все тело. Жидкостью из другого флакона он смазал мальчику виски, за ушами и темя.

Мальчик внезапно открыл глаза и сказал, что очень хочет есть. Немедленно, по совету Иллофиллиона, дедушка позвонил и приказал принести горячего шоколада и белого хлеба.

Пока лакей ходил за шоколадом, Иллофиллион дал капель старику и посоветовал ему тоже поесть. Сначала старик отказывался, говоря, что от качки есть не может; но когда мальчику принесли еду, сказал, что шоколад он, пожалуй, выпил бы.

Иллофиллион посоветовал ему поесть манной каши и выпить кофе, потому что сейчас шоколад ему не полезен. Пока мальчик ел, Иллофиллион внимательно наблюдал за ним. Он спрашивал, не холодно ли ему; и мальчик отвечал, что у него все тело горит и ему еще никогда не было так тепло. На вопрос, не болит ли у него что-нибудь, мальчик сказал, что у него в голове сидел винт и очень больно резал лоб и глаза; но что сейчас доктор, наверное, винт вынул и ему стало лучше.

Иллофиллион дал ему еще каких-то капель и посоветовал заснуть, мальчик охотно согласился и действительно через десять минут уже спал, ровно и спокойно дыша.

– Ну, теперь ваша очередь, – сказал Иллофиллион, подавая лекарство старику.

Тот беспрекословно повиновался; затем Иллофиллион попросил его лечь и сказал, что через три часа мы еще раз наведаемся, а пока пусть все как следует поспят.

Мы вышли из каюты, где так долго провозились, и прошли мимо толпы нарядных дам и кавалеров, которые начинали обретать свой обычный высокомерно-элегантный вид, пытались острить и флиртовать.

Итальянки нетерпеливо ждали нас в своей каюте с целыми пакетами белья и платьев, приготовленными для Жанны. Иллофиллион от души поблагодарил обеих дам, но просил отложить знакомство до завтра, так как сегодня и мать и дети, измученные бурей, еще очень слабы. Итальянки были разочарованы, пожалели бедняжек и сердечно простились с нами.

Не задерживаясь более нигде, мы прошли прямо к Жанне.

Если бы я не проспал целые сутки, то, наверное, уже свалился бы с ног, до того утомительно было это непрерывное хождение вверх и вниз по пароходу и непрестанное соприкосновение с людьми, с их болезнями, и порывами то злобы, то страха и отчаяния.

Когда мы вошли в каюту Жанны, дети еще спали, а сама она сидела в углу дивана, тщательно одетая и причесанная, но лицо ее было таким скорбным и бледным, что у меня защеготало в горле.

– А я уже и ждать вас перестала, – сказала она, чуть улыбнувшись, но глаза ее были полны слез.

– Нам пришлось задержаться, чтобы помочь одному ребенку, – ответил Иллофиллион с такою лаской в голосе, какой я еще у него не слыхивал. – Но почему вы решили, что мы можем нарушить свое слово и не прийти? Можно ли быть такой подозрительной и так мало верить людям?

– Если бы вы только знали, как я верила людям прежде и как жестоко мне пришлось разочароваться в их чести и доброжелательстве! Я боюсь даже думать о чуде вашей помощи. И все жду, что это дивный сон и он растает, как туман, а мне от этого тумана останется только роса моих слез, – сказала Жанна и расплакалась.

– Я сострадаю вам всем сердцем, – ответил Иллофиллион. – Но человек, когда в жизни на него обрушивается буря, – даже такая ужасная и неожиданная, как та буря на море, которую вы только что пережили, – должен быть энергичным и бороться, а не падать духом и тонуть в слезах. Подумайте, что было бы с людьми на этом судне, если бы капитан и его команда потерялись, пали духом и отдались во власть стихий? Ваше положение небезнадежно. Правда, вы потеряли сразу и мужа, и любовь, и благосостояние. Но вы не потеряли детей, а значит, не потеряли и ближайшей цели своей жизни. Зачем возвращаться мыслями к прошлому? Дважды потерять прошлое нельзя. Зачем думать с ужасом о будущем, которого вы не знаете и которого еще нет. Потерять можно одно только настоящее, вот это летящее «сейчас». А оно зависит только от энергичности, от жизнерадостности человека. Вдумайтесь, оглянувшись назад, сколько лишних мучений вы создали себе сами страхом перед жизнью. Разве ваш страх чему-нибудь помог? Да и те картины ужаса, которое рисовало вам ваше воображение, не осуществились.

Приведите в порядок свой внутренний мир, подобно тому, как вы привели в порядок свою внешность. Выбросьте из головы мысли о вашей нищете и беспомощности. В своей любви к погибшему мужу найдите силу для новой жизни, для труда и борьбы за счастье ваших детей. Не плачьте так горько! Помните, что вы оплакиваете только себя, свою потерю, свое личное потерянное счастье. Вы думаете, что оплакиваете гибель мужа, его безвременную кончину, но что мы можем понимать в совершающихся перед нами судьбах людей? Ваша жизнь может закончиться так же внезапно, поэтому живите так, как будто каждую минуту вы отдаете свой последний долг детям и всем тем людям, с которыми вас сталкивает жизнь. Не поддавайтесь унынию, держите себя в руках; забудьте о себе и думайте о детях. Старайтесь, как бы это ни было трудно для вас, не плакать. Скрывайте ваши слезы и страх от детей; учите их – на собственном примере – быть добрыми и радостно принимать каждый наступающий день. Даже если ваше предчувствие верно и в Константинополе вы не найдете в живых своего дядю, не теряйте мужества и надейтесь не на людей, а на себя. Завтра мы познакомим вас с двумя очень добрыми и культурными дамами, они с радостью поделятся с вами одеждой. Что же касается дальнейшего, то прямо здесь, на этом пароходе, едут два наших друга, имеющих большое предприятие в Константинополе. Возможно, им нужна особа, в совершенстве знающая французский язык, а если нет, они помогут вам найти другую работу. Быть может, вы сможете открыть мастерскую по производству дамских шляп или что-либо еще, что обеспечит вам заработок. Но для достижения успеха необходимо быть в спокойствии, сосредоточенности и бодрости. Я еще раз очень вас прошу, перестаньте плакать. Не оглядывайтесь назад и старайтесь думать только о том деле, которое вы делаете сейчас. Самое важное для вас дело сейчас – это здоровье ваших детей. Я думаю, что дочь ваша подхватила скверную форму лихорадки, и вам придется немало повозиться с ней.

Я не сводил глаз с Жанны, совершенно так же, как она во все глаза глядела на Иллофиллиона. На лице ее отразилось множество всевозможных чувств, сменявшихся одно другим. Сначала лицо Жанны выражало беспредельное удивление. Потом на нем мелькнули негодование, протест. Затем их сменило выражение такой скорби и отчаяния, что мне захотелось вмешаться и объяснить ей, что она, вероятно, неверно поняла слова Иллофиллиона. Но посте-

пенно лицо ее светлело, рыдания утихали, и в глазах мелькнуло уже знакомое мне выражение благоговения, с которым она впервые смотрела на Иллофиллиона – как на икону.

Иллофиллион говорил с ней по-французски, речь его была правильной, но с каким-то акцентом, чего я не замечал, когда он разговаривал на других языках. Я подумал, что он выучил этот язык, уже будучи взрослым.

– Я не умею выразить вам своей благодарности, и даже не все, вероятно, понимаю из того, что вы мне говорили, – сказала Жанна своим тихим мелодичным голосом. – Но я чувствую в своей душе чудесную перемену. Вы сказали, что верность моей любви к мужу должна выражаться не в слезах о нем, а в труде для его детей, и это дало какую-то необъяснимую уверенность.

Я не белоручка. Я вышла замуж за простого рабочего вопреки воле родителей – зажиточных фермеров. Я была у них единственной дочерью; они меня по-своему любили и баловали. Но когда я выросла, они потребовали, чтобы я вышла замуж за соседа-землевладельца, богатого и скупого пожилого человека, который был мне просто противен. Долго родители уговаривали меня; мне было шестнадцать лет, и я уже готова была согласиться на этот ужасный брак. Но на вечеринке у одной подруги я случайно увидела моего будущего мужа, Мишеля Моранье. И сразу поняла, что даже смерть не устрасит меня и я не пойду замуж за богатого старика.

Я танцевала целый вечер с Моранье, и он уговорил меня на следующий день пойти к нему на свидание. После этого жизнь в родительском доме превратилась для меня в ад. И мать, и отец грызли меня так, что до сих пор я без ужаса не могу вспоминать этого времени, хотя уже прошло восемь лет с тех пор. Нам с Мишелем пришлось бежать из родных мест. Тут как раз подвернулся случай уехать в Россию; там мы попали на французскую фабрику резиновых изделий в Петербурге. Мы жили очень хорошо. Я работала в шляпном магазине, и дамы нарасхват покупали мои шляпы, мы были так счастливы, и вот... – и бедняжка снова зарыдала.

Собравшись с силами, она еле слышно закончила свой рассказ:

– Это случилось потому, что машина, у которой работал муж, была неисправна. Но управляющий все тянул с ремонтом, пока не случилось непоправимое несчастье.

– Не бередите снова свои раны. Утрите слезы. Дети просыпаются, надо поберечь их нервы, да и ваши силы тоже подорваны, – все так же ласково сказал ей Иллофиллион. – Поставьте себе ближайшую задачу: восстановить здоровье детей. Надо дать девочке капли, чтобы ослабить новый приступ. А завтра детей следует вывести на палубу – им нужен свежий воздух. Мы поможем вам это сделать.

Жанна слушала Иллофиллиона, как пророка. Ее щеки пылали, глаза горели, и во всей ее слабой фигурке появилось столько силы и решимости, что я просто поразился той перемене, которая в ней произошла. Мы простились и вышли, провожаемые визгом проснувшихся детей, не желавших нас отпускать.

Как только закрылась за нами дверь каюты, я почувствовал полное изнеможение. Я так глубоко пережил трагичность рассказа Жанны, столько раз глотал подступавшие к горлу слезы, что за этот последний час лишился своих последних сил.

Иллофиллион ласково улыбнулся, взял меня под руку и сказал, что очень сочувствует столь трудному опыту начала моей новой жизни. Я едва добрался до каюты. Мы переоделись и сели за уже сервированный стол, где нас поджидал мой нянька-верзила.

Впервые мне не хотелось ни есть, ни говорить. Море уже достаточно успокоилось, но пароход все еще сильно качало. Иллофиллион подал мне какую-то конфету из своей аптечки, которая вернула мне бодрость, но говорить по-прежнему не хотелось. Предложение Иллофиллиона сойти через час к туркам я решительно отверг, сказав, что я сыт людьми и нуждаюсь в некоторой доле уединения и молчания.

– Бедный мой Левушка, – ласково произнес Иллофиллион. – Очень трудно сразу от детской неопытности перейти к сложной мужской жизни, которая требует немалого напряжения сил. Но ты уже немало человеческих судеб наблюдал за эти дни, многое видел и слышал. Ты видишь теперь, как внезапны бывают удары судьбы, и человек должен быть внутренне свободным, чтобы суметь мгновенно включаться в новую жизнь. И лучше не ждать чего-то от будущего, а действовать в каждое текущее мгновение – действовать, любя и побеждая, думая об общем благе, а не только о своих личных достижениях.

Иллофиллион сел в кресло рядом со мною; мы немного помолчали, но на лестнице внезапно послышались шаги и голос капитана, который теперь окончательно подружился с нами. Меня он просто обожал, по-прежнему считая меня весельчаком и чудо-храбрецом, как я ни старался разуверить его в этом.

Я действительно нуждался в уединении. Моя душа, мои мысли и чувства были похожи на волнуемое море, и волны моего духа так же набегали одна на другую, сталкивались, пенились и кипели, не принося успокоения.

Из тысячи неожиданно свалившихся на мою голову событий я не мог выделить ни одного, где логический ход вещей был бы ясен мне до конца. Повсюду мне чудилось присутствие некоей таинственности, а я терпеть не мог ни тайн, ни чудес. Слова, которые говорил мне Флорентиец, «нет чудес, есть только та или иная степень знания», часто мелькали в сумбуре моих мыслей, но я их не осознавал.

Из всех чувств, из всех впечатлений в моей душе господствовали два: любовь к брату и любовь к Флорентийцу.

У меня еще не было любимой женщины. Ничья женская рука не ласкала меня; у меня не было ни матери, ни сестры. Но что такое любовь и преданность полная, не критикующая, а обожающая, я знал, потому что любил брата-отца так, что все мои дела и поступки всегда делал так, как если бы брат был рядом со мной и я советовался с ним в каждом движении своего сердца. Единственное, что я скрыл от него, – это свой писательский талант. Но опять-таки, мной руководило желание уберечь брата-отца от наивных писательских опытов брата-сына.

Эта любовь к брату составляла стержень, остов моей жизни. На ней я строил все свое настоящее и будущее, причем на настоящее я смотрел свысока, как на преддверие той великолепной жизни, которой мы заживем вместе после окончания моего обучения.

А теперь мне пришлось осознать свое детское ослепление: я не задумывался раньше о том, кто мой брат и какой жизнью он живет. Я внезапно увидел кусочек его жизни, общественной и личной, где меня не было. Для меня это было катастрофой, почти такой же острой, как катастрофа Жанны. И, скорбя о ней, я скорбил и о себе тоже...

Я ничего не понимал. Какую роль играла и играет Наль в жизненном спектакле моего брата? Какое место занимает мой брат в освободительном движении? Как связан он с Али и с Флорентийцем? Поистине, здесь все казалось мне тайной, я признавал свою невежественность и неподготовленность к той жизни, в которую мне сейчас пришлось вступить.

Я думал, что любить так, как я любил брата, можно лишь одного человека и один раз в жизни. И я сам не заметил, как сердце мое расширилось и в него вошел еще один человек; точно светлым кольцом он опоясал мое сердце, оставив в середине его образ брата Николая.

Я не раздвоился в своей любви к Флорентийцу и брату. Я объединил их обе в себе, и теперь оба образа жили во мне, рождая один мучительный стон тоски и жажды встречи...

Я еще не испытывал такой силы обаяния, которой пленил меня Флорентиец. Новое понимание слова «пленил» явилось в моем сознании. Поистине, мое сердце и мысли были пленены каким-то очарованием и радостью, которую разливал вокруг себя этот человек. Вся атмосфера вокруг него дышала не только силой и уверенностью, и оказавшись в ней, я радовался счастьем жить еще один день, еще одну минуту возле него.

Рядом с ним я не испытывал ни страха, ни сомнений, ни тревоги о завтрашнем дне, – лишь творческий импульс передавал всему окружающему этот человек.

В своих размышлениях, со свойственной мне рассеянностью я забыл обо всем и всех, забыл время, место, потерял ощущение пространства – я летел мыслью к моему дивному другу. Я так был полон им, что снова – как ночью в бурю – мне вдруг показалось, что я вижу его.

Точно круглое окно открылось среди темнеющих облаков, и я увидел мираж моей мечты, моего Флорентийца в белой одежде, с золотистыми, вьющимися волосами. Встав с кресла, я выбежал из каюты, добежал до края палубы и точно услышал голос: «Я с тобой, мой мальчик, храни верность своим идеалам, и ты достигнешь цели, поможешь брату – и мы встретимся снова».

Бурная радость охватила меня. Какая-то сила влилась во все мое тело, и оно стало точно железным. Я почувствовал себя счастливым и необычайно спокойным.

– Ну, как же чувствует себя мой юный друг, смельчак-весельчак? – услышал я за собой голос капитана. – Никак, чудесные облака сегодняшнего вечера увлекли вас в небо?

Я не сразу отдал себе отчет в том, что происходит, не сразу повернулся; но когда повернулся, то своим, очевидно, преображенным лицом поразил не только капитана, но даже Иллофиллиона, так изумленно оба они поглядели на меня.

Точно желая защитить меня от капитана, Иллофиллион обнял меня и крепко прижал к себе.

– Ну и сюрпризы же способны преподносить эти русские люди! Что с вами? Ведь вы просто красавец! Вы сверкаете как драгоценный камень, – говорил, улыбаясь, капитан. – Так вот вы каким бываете! Теперь я не удивляюсь, что не только красавица из лазарета, но и молодая итальянка и русская гречанка – все спрашивают о вас. Я теперь понимаю, какие еще силы, кроме храбрости, таятся в вас.

Я с сожалением поглядел на темные облака, где исчез мираж моей любви, и тихо сказал капитану:

– Вы очень ошибаетесь, я далеко не герой и не донжуан, а самый обычный «Левушка – лови ворон». Я и сейчас ловил свою мечту, да не поймал.

– Ну, – развел руками капитан, – если за три дня, учитывая еще бурю, смутить три женских сердца – это еще мало, то остается только добавить на весы ваших побед мое, уже дырявое, сердце старого морского волка. Вы забрали меня в плен, юный друг; пойдете выпьем на брудершафт.

Не было никакой возможности отказаться от приглашения радушного человека. Но мне казалось, что никогда еще обязательства вежливости не были мне так трудны.

– Думай о Флорентийце, – шепнул мне Иллофиллион. – Ему тоже не всегда легко, но он всегда обаятелен, старайся передать сейчас его обаяние всем окружающим.

Эти слова вдохновили меня на новое применение бурлившей во мне радости. И через некоторое время и капитан, и поднявшиеся к нам турки покатывались со смеху от моих удачных каламбуров и острот.

Вечер быстро перешел в ночь, а рано утром мы должны были войти в порт Б., пополнить запасы воды, угля и провианта, а также выгрузить перевозимых на корабле животных.

Отговорившись усталостью, мы с Иллофиллионом распрощались со всем обществом и ушли в свою каюту. Мы еще долго не спали, я делился с Иллофиллионом своими мыслями, говорил о своей тоске по брату, о преданности Флорентийцу, о мираже в облаках и слуховой иллюзии, созданными желанием встречи с ним. Иллофиллион говорил мне, чтобы я не думал о мираже, не думал об иллюзиях, а думал только о самом смысле долетевших до меня слов. Не важно, каким образом была получена весть. Важно, какая это была весть и какие силы она пробудила в тебе.

– Запомни чувства уверенности и радости, которые родились в тебе сегодня, и то спокойствие, которое ты ощутил в глубине сердца, когда тебе показалось, что ты видишь и слышишь Флорентийца. И если будешь делать какое-либо большое дело, имея в себе эти чувства, – можешь не сомневаться в успехе. Верность идее, как и верность любви, всегда приведут к победе.

Я крепко обнял и поцеловал Иллофиллиона, от всего сердца поблагодарив его за все заботы обо мне, и лег спать, благословляя жизнь за свет и красоту и будучи в полной гармонии с самим собой и со всей Вселенной.

Глава 14

Стоянка в Б. и неожиданные впечатления

Утром я проснулся совершенно свежим и отдохнувшим. Я видел во сне Флорентийца, и так реально было ощущение разговора и свидания с ним, что я даже улыбнулся своей способности жить воображением.

Солнце сияло, качка почти совсем прекратилась, и первое, на что я обратил внимание, это на близость берега, покрытого пышной растительностью. Возле меня вырос наш матрос-верзила и сказал, что мы скоро войдем в бухту Б., указывая вдаль на живописно раскинувшийся, довольно большой и красивый городок.

Снизу поднялся Иллофиллион, очень радостно поздоровался со мной и предложил поскорее выпить кофе, чтобы потом пойти к Жанне и подготовить ее к встрече с итальянками. Мы принялись за завтрак; тут подошел к нам капитан и, смеясь, подал мне надушенную запичку.

– Рассказывай теперь другим, дружище, что ты скромный мальчик. Велела тебе передать дочка, да старалась, чтобы маменька не видала, – похлопывая меня по плечу, сказал капитан.

Я стал смеяться, как, вероятно, всему смеялся бы сегодня, потому что у меня все радовалось внутри. Записку я передал Иллофиллиону, сказав, что так голоден, что не могу оторваться от бутерброда, и прошу его прочесть ее.

Капитан негодовал на мое легкомыслие и уверял, что только теперь понимает мою молодость и мальчишескую неопытность в любовных делах и что надо всегда самому читать женские письма, так как женщины – существа загадочные и могут выкидывать самые неожиданные штучки.

Все же я настоял, чтобы Иллофиллион прочел записку, и потребовал, чтобы сам почтальон присутствовал при ее чтении.

– Ну и занятый же ты мальчишка, – сказал, расхохотавшись, капитан и присел у стола.

Записка, как я и был уверен, была деловая от молодой итальянки. Она писала, что просит скорее отвести их к нашей приятельнице, так как в Б. много хороших магазинов и можно купить детям все необходимое из одежды и обуви. Кончалось письмо припиской, что мы, вероятно, не откажемся им сопутствовать, что город они хорошо знают, но были бы рады спутникам-мужчинам, знающим местный язык.

Капитана несколько разочаровало содержание записки; но он продолжал уверять, что это только благовидный предлог, а развитие любовной истории будет завтра-послезавтра, – потому что в глазах у девушки он увидел мой портрет.

Мы кончили наш завтрак, я пошутил над моим новым другом, сказав, что к его желтым глазам как раз подойдут черные глаза итальянки, а я уж подожду синих глаз, авось найдутся такие к моим темным.

Шутя так, мы вместе с ним спустились вниз и прошли прямо к Жанне. Капитан в виде дружеского назидания покачал головой и погрозил мне пальцем.

Жанну мы застали в беспокойстве. Оба ее ребенка метались в жару. Она сказала, что в семь часов, когда дети проснулись, они были совершенно здоровы и охотно выпили шоколад. Но внезапно, около получаса назад, малыш пожаловался на головную боль, за ним и девочка сказала, что у нее болит голова; не успела Жанна уложить их в постель, как они начали бредить.

Иллофиллион внимательно осмотрел детей, вынул из кармана красивый граненый флакон, которого я еще не видел, и дал им поочередно лекарство.

– Не волнуйтесь, – обратился он к Жанне. – Могло быть и хуже. Через два часа жар спадет, и дети снова будут чувствовать себя хорошо. Но это не значит, что они уже совсем выздоровели. Я вас предупреждал, что немало времени еще вам придется за ними ухаживать.

– Ухаживать за ними я готова всю жизнь, лишь бы они были здоровы и счастливы, – героически сдерживая слезы, ответила Жанна.

Я заметил в ней какую-то перемену. Нельзя сказать о такой молодой женщине, что она вдруг постарела. Но у меня сжалось сердце при мысли, что только сейчас она начинает по-настоящему осознавать свое положение и в ее сердце еще глубже пускает корни скорбь.

По распоряжению Иллофиллиона детей вынесли на палубу и, завернув в одеяла, оставили там на диванах вплоть до нашего нового визита. Жанне Иллофиллион рекомендовал тоже прилечь рядом с детьми на плетеном диване, предупредив, что через два-три часа дети проснутся и будут чувствовать себя хорошо.

Устроив ее возле детей, мы сказали, что сейчас же вернемся с нашими приятельницами, о которых говорили ей вчера, но сама она должна лежать и не думать вставать.

Мы быстро зашли за итальянками, уже совершенно готовыми сойти с парохода, и провели их к Жанне, предупредив, что и дети, и мать все еще больны.

Войдя к Жанне, обе женщины сердечно обняли ее, осторожно на цыпочках подошли к детям и чуть не расплакались, тронутые их красотой, беспомощностью и болезненно пылающими щеками.

Обе итальянки выказали большой такт и внимание в обращении с Жанной; говорили мало, вопреки свойственным этому народу говорливости и темпераменту, но все их слова и действия были полны уважения и сострадания к горю бедной матери.

Очень нежно и осторожно, с моей помощью, молодая итальянка сняла мерку с детей, и по ее лицу несколько раз пробежала судорога какой-то внутренней боли. Очевидно, и ее сердце уже познало драму любви и скорби.

Старшая дама в это время успела снять мерку с Жанны, хотя та и уверяла, что лично ей ничего не надо, вот только всю детскую одежду у нее стащили на пароходе моментально, как только она отвлеклась.

Дамы простились с Жанной, прося ее заботиться только о своем здоровье и думать о детях, а все хлопоты об одежде просили предоставить им. Когда они вышли, я последовал за ними, а Иллофиллион, задержавшись немного возле детей, догнал нас уже на нижней палубе, где заканчивали устанавливать мостки.

Пароход должен был стоять в порту весь день до вечера. Нам спешить было некуда, но Иллофиллион хотел скорее купить игрушки детям, чтобы они, проснувшись, легче выдержали постельный режим, который был им необходим.

Городок, в котором мы очутились, был очень живописен. С массой зелени, с большими садами, редкостной растительностью и с красивыми, почти сплошь одноэтажными домами, большей частью белыми, он выглядел очень уютно.

Мы скоро отыскивали магазин для детей, выбрали целую кучу самых разнообразных игрушек и отправили их Жанне, скорбные глаза которой все стояли передо мной.

Мне хотелось самому отнести ей игрушки, но Иллофиллион шепнул мне, что мы должны еще вместе с дамами купить одежду детям и Жанне, проводить наших спутниц обратно на пароход, а потом спешно навестить одного из друзей Али и Флорентийца, где нас могут ждать известия. И в зависимости от них мы или будем продолжать наш путь на пароходе до Константинополя, или свернем на лошадях к турецкой границе и доберемся туда сушей, что будет и много дольше, и труднее.

Я пришел в ужас. «А Жанна?» – хотел я крикнуть. Но Иллофиллион приложил палец к губам, взял меня под руку и ответил на какой-то вопрос старшей итальянки.

Я так был потрясен возможным внезапным расставанием с Жанной, ее судьбой без нас, что мне словно заноза вонзилась в сердце. Я мгновенно превратился в «Левушку – лови ворон», забыв обо всем, и, если бы не твердая рука Иллофиллиона, управлявшая моими автоматическими шагами, я бы, наверное, остановился на месте.

– Подумай о Флорентийце, мог ли бы он быть таким рассеянным, невоспитанным и нелюбезным. Предложи руку молодой даме и будь таким кавалером, каким ты желал бы быть для Жанны, если бы тебе пришлось провожать ее. Вежливость обязательна для друга Флорентийца, – услышал я шепот Иллофиллиона.

Вновь и вновь мне приходилось осознавать, как трудно мне дается искусство самовоспитания, как я неопытен и как сложно обрести самообладание. В моем сознании мелькнул образ брата; я вспомнил о его железной воле и рыцарской вежливости во время разговора с Наль в саду Али Мохаммеда. Я сделал невероятное усилие, даже физически ощутив напряжение, подошел к девушке, снял шляпу и, поклонившись, предложил ей руку.

Тоненькое личико девушки с огромными глазами порозовело, она улыбнулась и как-то вся вдруг изменилась. Она стала так миловидна, что я сразу понял, чего этому лицу не хватало. На нем отражались уныние, разочарование, и они, точно маска, делали его безжизненным.

«Должно быть, и здесь Матери Жизни пришлось включить черную жемчужину в ожерелье», – мысленно вспомнил я слова Али.

Сочувствие к моей спутнице помогла мне забыть о своем настроении, и я стал искать возможностей рассеять печаль девушки.

Я начал с того, что назвал ей свою фамилию, сказав, что я русский, и извинился, что в суете мы с братом забыли представиться им.

Девушка ответила мне, что фамилию мою она узнала благодаря списку пассажиров в судовой книге, это не составило труда, так как каюта люкс, которую мы занимаем, на пароходе только одна.

Она рассказала, что они родом из Флоренции, но живут уже два года в Петербурге у брата ее матери; на родине у нее случилось очень большое горе, и мать увезла ее путешествовать, чтобы развеяться и забыть о прошлом.

Девушка сказала, что ее зовут Мария Гальдони, а мать ее звали Джиованна Гальдони, и что они едут в Константинополь навестить сестру матери, синьору Терезу, которая вышла замуж за дипломата, и теперь судьба закинула ее в Турцию. Она спросила, куда едем мы с братом. Я ответил, что пока едем в Константинополь, а дальше я еще маршрута не знаю.

Мы дошли до главной улицы и зашли в магазин белья. Здесь мы с Иллофиллионом уступили поле сражения синьорам Гальдони, но в магазине дамского платья и верхней одежды я решил вмешаться. Обе дамы предпочитали вещи светлые и яркие, я же выбрал для Жанны синий костюм из китайского шелка, белую батистовую блузку и небольшую английскую шляпу из рисовой соломки с синей лентой. Иллофиллион выбрал девочке серенькое пальто, фланелевое платье и мальчику пальто и фланелевый костюм. Итальянки поражались нашему вкусу и выбору, но мы стояли на своем, утверждая, что будут не одни солнечные дни.

Оставалось купить еще обувь, и я твердо выдержал характер, купив Жанне желтые туфли на толстой подошве. Иллофиллион, смеясь, уступил дамам выбрать обувь детям и матери по их вкусам, утверждая, что иначе мы закупим весь магазин. Мы отправили посыльного купить два чемодана, уложили в них все, кроме шляп, сели на извозчиков и отправились на пароход.

Мне снова пришлось ехать рядом с синьорой Марией. Разговор вертелся вокруг бури и связанных с ней происшествий. Подъезжая к пароходу, мы столкнулись с целой толпой народа, повеселевших, отдохнувших обитателей кают всех классов, спешивших в город.

Группа разряженных путешественников первого класса, дам, демонстрировавших свои туалеты и строивших глазки мужчинам, и мужчин, старавшихся блеснуть своим остроумием,

ловкостью, аристократичностью манер и выказать свои рыцарские достоинства, после того как я видел их изнанку во время бури, вызвала у меня чувство, напоминавшее тошноту.

Со многими из них мы были знакомы, многим помогали во время бури. Я знал их нетерпение, помнил грубость их обращения с судовой прислугой и отсутствие всякой выдержки этих лощеных людей в часы опасности. И теперь я не мог выбросить из головы представления о стаде двуногих животных, которым подвернулась новая возможность выставить напоказ свои физические достоинства, чтобы провести день на суше в завлекательной игре.

Мы проводили наших дам до каюты Жанны, распростились с ними и на вопрос: «Когда же снова увидимся?» Иллофиллион ответил, что увидимся, вероятно, только после обеда, когда тронемся в путь.

Поднявшись в отделение первого класса, мы встретились с турками и вместе с ними снова вернулись в город.

На этот раз мы направились не в центр, а к окраине города. По приморскому бульвару, обрамленному цветущими мимозами, розовыми и желтыми акациями и пальмами, мы вышли на тихую улицу и позвонили у красивого белого дома, окруженного садом.

Путь был недолог; я шел рядом с молодым турком и успел только спросить его, зажила ли рана на его голове.

– Рана на голове почти зажила, а вот нога все еще очень болит, – ответил он мне.

– Почему же вы не покажете ее Иллофиллиону? – спросил я.

Он ответил, что не имел возможности перекинуться словом с Иллофиллионом без отца. А отца он волновать не хочет и скрывает от него боль в ноге. Когда мы подошли к дому, я шепнул Иллофиллиону, что у его молодого приятеля рана на ноге, которую он скрывает от отца.

Иллофиллион кивнул мне, тут открылась дверь, и мы вошли в дом.

Скромный снаружи белый домик с мезонином был чудом уюта внутри. Большая передняя – нечто вроде английского холла – разделяла дом на две части. Стены были обшиты невысокой панелью из карельской березы. Такого же дерева были вешалка, стулья, кресла, столы. Стены выше панели были обиты сафьяном бирюзового цвета, по ним спускались большие ветки мимозы. Пол был застлан голубым ковром с желтыми и белыми цветами. Я остановился зачарованный. В этой комнате так легко дышалось, словно это был замок доброй феи. Я стоял, по обыкновению, «Левушкой – лови ворон» и не знал, в каком месте земного шара нахожусь. Я ничего не слышал, а только смотрел и радовался гармоничной обстановке этой комнаты; никогда я не видел даже жалкого подобия ее.

На верхней площадке лестницы открылась такая же, карельской березы, дверь с бирюзовой ручкой, и показалась женская фигура в белом, которая стала спускаться вниз. Каково же было мое изумление, когда я увидел, что лицо девушки в белом, ее руки, шея были совершенно черные. Она подошла прямо к Иллофиллиону, протянула ему обе черные руки и заговорила по-английски.

Неожиданно увидев в первый раз в жизни черную девушку не в балагане, а разговаривающую по-английски, с прекрасными манерами, с фигурой вроде статуи, с лицом красивым, без ужасных толстых губ, и с косами, а не с черным войлоком на голове, – я просто испугался. Должно быть, мое лицо выражало мое смятение достаточно выразительно, так как даже неизменно выдержанный Иллофиллион засмеялся, а я поспешил спрятаться за его широкую спину.

Сейчас я даже не понимаю, почему я так испугался тогда. Правда, она быстро вращала глазами, так, что их белки сверкали, и столь же быстро говорила горловым голосом, но ничего отвратительного в ней не было. Она даже была по-своему нежна и женственна, быть может, даже прекрасна.

Но тогда она внушала мне ужас.

Я все пятился назад, пропустив вперед обоих турок, которые, очевидно, были с ней знакомы. Я дрожал от ужаса, что мне придется коснуться этой агатовой руки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.